ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

ВСЕ ВПЕРЕДИ

Роман

Москва
Современный писатель
1993

ББК 84 Р7
Б 43

Художник
Дмитрий МУХИН

Б 4702010201—039 / 083(02)—93 Без объявления

ISBN 5—265—02672—X

На вопрос «Что сейчас составляет вашу главную боль писателя и гражданина?» Василий Белов ответил: «Все, что касается современной семьи!.. Разрушение семьи, которое происходит, может обойтись нашему государству очень дорого. Это чувствуется уже теперь и в нравственном, и в экономическом, и в демографическом смыслах...»

Начиная с повести «Привычное дело», принесшей ему всеобщую известность, с книги рассказов «Воспитание по доктору Споку», за которую писателю присуждена Государст-

венная премия, до последнего, вызвавшего ожесточенные споры, романа «Все впереди» Василий Белов с сизифовым постоянством всесторонне и бескомпромиссно исследует все, что касается современной семьи, этой первоосновной ячейки человеческого общества.

Остроконфликтный, полемичный, написанный гневной, но милосердной рукой роман «Все впереди» никого не оставит равнодушным.

Часть первая

БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

1

В аэропорту Шереметьево приземлился очередной самолет. Это был «ИЛ-62» из Парижа. Он долго выруливал куда требовалось, наконец стих. Пассажиры, в том числе и группа московских туристов, тоже притихли. Люба Медведева — учительница музыки одной из московских школ — испытывала усталость и облегчение, она оставила незамеченным краткий наплыв душевной тревоги. Предчувствия недобрых событий никак ее не устраивали...

Десять дней назад, ранним и свежим весенним утром, муж на такси привез ее сюда, в Шереметьево. В «специализированную», как говорилось, группу московских туристов она попала благодаря бывшему однокласснику Мише Бришу, который больше всех хлопотал о путевке.

— Тебе писать расписку или так обойдешься? — шутливо спросил тогда Бриш.

Медведев поцеловал жену, пропуская шутку мимо ушей. Бриш энергично взял чемодан. Переводчица, возглавляющая группу, обладала мужской походкой и довольно объемным торсом, она тотчас оказалась под обстрелом Мишиных острот, но и сам Бриш был тут же обстрелян:

Миша Бриш, Миша Бриш,
Ты куда от нас летишь?

Люба оглянулась на сочинителя: им оказался лысый молодой человек в кожаном темном пальто. Он был похож на Штирлица, вернее, на актера Тихонова. Уже за пограничным барьером в суете и спешке Бриш познакомил с ним Любу, но она всегда плохо запоминала имена и фамилии. За границей Любе все время было стыдно. Ей

казалось, что на них оглядываются, что москвичи многое делают невпопад. Она то и дело краснела.

Париж! Еще два месяца назад она даже не мечтала о подобной поездке. Обычно в свои счастливые минуты она вспоминала дочку и мужа, если их не было рядом. Потом она вспоминала мать, и становилось обидно оттого, что никто из них не испытывает то же самое. Помнится, когда открылись огненные парижские воро́ха, она прильнула к иллюминатору.

Миша Бриш, Миша Бриш,
Ты не писай на Париж, —

послышалось сзади. Но Люба, четко услышав каждое слово, не восприняла смысла. Остроты и смех лысого журналиста не достигли ее сознания.

Обширная золотистая россыпь огней, словно звездное небо, то поднималась наклонно, то кренилась в другую сторону. Ясно видны были пунктирные линии скоростных трасс, различались очертания больших площадей. И так радостно билось сердце: Париж! Город, о котором столько сказано и написано всеми людьми земли. И это ее, Любу Медведеву, ждет удивительная, теперь уж такая близкая встреча с Парижем. Неужели это не сон?

Она мечтала всегда, начиная со школьной парты. Мечтала о том, что будет: мечтала ежедневно о завтрашнем дне или вечере. Почти каждое мечтание ее осуществлялось. Она тотчас забывала об этом и снова мечтала, уже о большем, загадывая дальше и дальше. И чем больше она мечтала, чем дальше загадывала, тем неинтересней казалась ей сегодняшняя жизнь, повседневное окружение и обыденные дела. Люба всегда жила завтрашним, вернее, послезавтрашним днем, думала только о будущем, не замечая настоящего и совсем не вспоминая о прошлом. Если б она вспомнила как-нибудь прежние, давно сбывшиеся мечты, она ужаснулась бы их наивности, покраснела бы от стыда за свою прошлую, такую, как бы она сказала, примитивную жизнь. Счастье ее складывалось из постоянного ожидания. То она ожидала и мечтала закончить школу, то мечтала познакомиться с кем-то, то строила планы насчет летних каникул. Мечта о гордом Медведеве, возникшая еще в школе, осуществилась без сучка и задоринки. Сбылись и самые радужные пла-

ны семейной жизни. Об одном только она не мечтала — о рождении ребенка. Она боялась родов, долго избегала беременности, но Медведев не хотел больше ждать, и она рискнула...

Она не любила ребенка заранее. Эта любовь явилась к ней после рождения дочери. И жизнь преподнесла ей великолепный сюрприз! Теперь мечты Любы касались уже не только ее самой, но и Верочки. Дочка сделала радостным и завтрашний день, и сегодняшний. И все же Люба Медведева, как и раньше, считала, что самое прекрасное у нее впереди. Нельзя сказать, что у нее не было к тому оснований. Ее красота и здоровье, любовь и надежность мужа, семейное благополучие, интересная (хотя и несколько надоедливая) работа, уйма добрых знакомых — все это радовало, предвещая восхитительное, прекрасное будущее. И она от души верила в это близкое необыкновенное будущее...

В тот день Люба Медведева чувствовала себя Алисой в стране чудес. Светлые, шумные залы аэропорта Орли были запружены людьми разных национальностей, одетыми кто во что, говорящими на всех языках, с лицами то бледными, то бронзовыми, то черными до синевы, то до неприличия белыми, то желтовато-смуглыми. Глаза толпы мелькали, искрились, большие и узкие, карие, черные, реже синие. Чемоданы разнообразных объемов, расцветок и конструкций проезжали в бесшумных тележках. Киоски с бижутерией сверкали и переливались. Такими же переливчатыми были музыкальные предисловия радиообъявлений. Полицейские в черной форме, их высокие то ли шапки, то ли кепки напоминали какую-то картинку из книг на тему бесчисленных французских революций.

Люба не успевала разглядывать и запоминать. До нее не сразу дошло, что седеющий, небольшого роста и невзрачно одетый мсье Мирский и есть тот самый гид, который будет сопровождать московских туристов. Оказалось, что группа, не заезжая в Париж, той же ночью летит в Марсель. Помнится, Люба забылась коротким и чутким сном в кресле «боинга» и не слышала, что говорили между собой Михаил Бриш и его приятель, которого звали Аркадием. Как хорошо, что в такой поездке есть близкий знакомый! Даже о чемодане можно было не думать, заботу о нем полностью взял на себя Миша. Совершенно

шенно сонная, но радостная, она шла куда-то, с кем-то знакомилась, ехала на каком-то автобусе и вдруг очнулась в обширном холле какой-то гостиницы. Только тяжесть бронзовой болванки дверного ключа осталась в памяти от последних минут этого счастливого вечера. Чемодан ей занесли в номер, оказавшийся совершенно роскошным. Она еще успела разглядеть матово-бежевую облицовку ванной, полюбоваться красивыми обоями, све тильником и странной валикообразной подушкой.

Ванну она приняла в сонном, но в таком же восторженном состоянии. Она улеглась в кровать и проснулась, как ей показалось, в ту же минуту. Солнце ласково и настойчиво припекало сквозь тюлевую преграду. В одной сорочке, на цыпочках, она прошла по коврику и осторожно посмотрела в окно. Номер был на втором этаже. Большая клумба, разбитая у входа в гостиницу, полыхала богатой цветочной радугой. Через открытую форточку пахло озоном и близостью моря. Люба едва удержалась, чтобы не запрыгать и не захлопать в ладошки. Но она тут же вспомнила мужа и дочь: как было бы хорошо, если б они тоже были здесь и видели все это! Ей стало их жаль, она даже собралась всплакнуть, как вдруг в дверь вежливо постучали. Люба набросила халат и открыла. Перед ней, улыбаясь, стояла девушка в светло-синем передничке. Она сделала книксен и что-то спросила, но Люба знала по-французски только «мерси» да еще «сильвупле». Обе говорили, каждая свое, обе с улыбкой жестикулировали, пока не рассмеялись. Девушка ушла, а Люба, так ничего и не поняв, занялась туалетом: ей хотелось сбегать до завтрака в город. Не успела она причесаться, как горничная вернулась, причем с подносом. Она поставила поднос на столик и так же бесшумно, с той же очаровательной улыбкой, исчезла. На подносе Люба обнаружила кофейник, подогретое молоко, две булочки, сахар и крохотную порцию масла, запакованного с таким изяществом, что разворачивать было жалко. Такой же красивой была и пластмассовая баночка с ежевичным джемом. Люба совсем растерялась. Не ошиблась ли горничная? Не приняла ли ее за какую-нибудь важную даму? «Будь что будет, а я позавтракаю», — решила она и уже через пятнадцать минут, радостная и праздничная, спустилась в холл.

Никого из группы внизу не было. Портье, принимая ключ, любезно сказал ей что-то приятное.

Бежевый шерстяной костюм сидел на ней свободно и ловко. Она знала об этом еще в Москве. От этого ее движения были также непринужденными, приятными, об этом она тоже знала, и ей захотелось пойти быстрее. Времени еще целый час, можно хоть чуточку посмотреть город.

Она пришла на широкую главную улицу, спускающуюся к морской бухте.

Марсель дышал по-весеннему широко, было свежо, но не холодно. Город по сравнению с Москвой казался тихим, редкие машины катились неторопливо, прохожих оказалось очень немного. Стараясь не останавливаться у магазинных витрин, Люба чуть не бегом устремилась по склону вдоль улицы и вскоре очутилась на берегу, у самой гавани, в базарной толпе. Вся набережная около бухты была заставлена рыбными садками, лотками, плетеными корзинами, пластиковыми посудинами, заполненными свежей рыбой, какими-то гигантскими раками, глазастыми морскими чудовищами, смешными и порой отвратительными на вид, еще живыми водными существами. Акулообразные серебристые тела каких-то экзотических рыбин лежали на лотках словно поленья. Лоснились на солнце пластами наваленные камбалы, лобастые бычки еще шевелили хвостами. Какой только морской живности тут не было!

Бирюзовое море виднелось вдали в узком проходе. Вода в бухте переливалась то золотисто-синим, то зеленоватым, везде стояли большие и малые яхты, катера и лодки, причаленные друг к другу. Они щеголяли ослепительной чистотой, солнце играло в медных частях оснастки. Запах морских водорослей, запах тайных морских глубин исходил от всех этих судов, корзин и лотков. «Почему же так мало покупателей?» — подумала Люба, но тут же изумилась той быстрой перемене, которая случилась на набережной.

Торговля стихла, лотки опустели, корзины с морскими дивами быстро, словно в кино, исчезли. Толпа таяла на глазах. Люба вдруг обнаружила, что забыла улицу, по которой она спустилась к морской гавани. Что теперь с нею будет? Оставалось всего двадцать минут до назначенного сбора в холле гостиницы. Она в ужасе заторопилась вверх, но улица оказалась не та. Пришлось вернуться, чтобы не заблудиться еще больше. Не зная, куда идти, Люба растерянно оглядывалась.

— Ай-ай-ай! А мы уже заблудились? — послышалось за спиной.

Аркадий, друг Миши, стоял на дощатом пирсе и улыбался. У нее, как говорят писатели, вырвался вздох облегчения.

— Идемте. Нас обоих не будет хватать на завтраке. Эта дама шутить не любит...

— Какая дама?

— Ну, эта... самая.

Он ловко подправил ее за локоть, когда Люба ступила не в том направлении. И тут же нервным движением выпустил ее руку.

Гостиница оказалась совсем рядом. Сэкономив полчаса на завтраке, Люба успела разобрать вещи. Когда она вновь появилась в холле, шофер и мсье Мирский издали узнали ее и дружно с ней поздоровались. А что за прелесть был этот Жан — шофер туристического автобуса! Живой, словно служитель цирка, всегда улыбающийся, он делал свои дела красиво, легко и стремительно. Одет он был в светлые вельветовые брюки и тонкий темно-синий шерстяной свитер. Этот свитер очень и очень шел к его тоже синим глазам. «Странно, — подумалось ей, — волосы черные как смола, а глаза синие. Что, это у всех французов?» Она не успела додумать свою мысль. Спутники дружно заполняли автобус.

День опять прошел словно во сне.

За обедом она выпила полтора бокала какого-то не очень вкусного красного вина. Друг Миши Аркадий хотел подлить ей еще, но обе бутылки оказались пустыми. Мсье Мирский уже выглядывал официанта, вернее, хозяина ресторанчика, чтобы тот подал вина, но Люба замахала руками. Как-то так получилось, что и во время ужина Миша и Аркадий оказались с ней за одним столиком. Четвертым опять был мсье Мирский. На этот раз подали рыбу. Люба наблюдала за официантом, напоминавшим ей настоящего Фигаро. В черной жилетке и белоснежной рубашке, он так ловко, на четырех пальцах, носил перегруженный блюдами поднос, так быстро сновал с этим грузом между столами, что на него загляделись все москвичи. Вероятно, он чувствовал это и радовался, что его мастерство замечено.

— Скажите, Матвей Яковлевич, — обратился Бриш к мсье Мирскому. — Правда ведь, Марсель очень похож на Одессу?

— Никогда! — убежденно отрезал Мирский, и Бриш сразу заговорил о чем-то ином.

Еще за обедом выяснилось, что гид провел раннее детство в Одессе, но родители увезли его сначала в Румынию, затем во Францию. Люба рассеянно вслушивалась в мужской разговор, который казался ей скучным. Около девяти она тихонько ушла в номер.

Ей нестерпимо хотелось спать, но она достала из чемодана блокнотик и авторучку, купленные мужем специально для этой поездки. Она обещала Медведеву ежедневно записывать самое интересное. Ей было жалко его, своего кандидата наук. Почтовый ящик, где он руководил какими-то важными разработками, давал право ездить только в Крым либо на Кавказ. За границу у них не пускали, и, если бы не помощь Миши, Любу тоже не включили бы в группу.

Она уселась в мягкое ласковое кресло, включила светильник и открыла блокнотик. С чего же начать? Она просто не знала, с чего начать. Она вспомнила о том, что в Москве глубокая ночь и дочь давно спит, разбросав игрушки. Наверное, опять не почистила на ночь зубы. Такие раздумья натолкнули Любу на то, чтобы писать в виде письма. Пусть письмо будет не отправлено. А почему бы, собственно, его не отправить? Правда, это очень дорого. Той жалкой валюты, что имелась у Любы, не хватит даже на приличные сувениры. К тому же письмо может прийти уже после ее приезда домой. Что ж, это будет так интересно. Они все вместе получат ее письмо из Парижа...

«Милый Дым, мне жаль, что тебя нет рядом. Ты и представить не можешь, как много всяких впечатлений, а ведь прожит всего один день. Вчера я познакомилась почти со всеми из нашей группы. Сегодня в Марселе нас возили по городу на автобусе, потом на катере в крепость Иф. Помнишь графа Монте-Кристо? Это та самая крепость, там такие жуткие казематы. После обеда ездили в здешний Нотр-Дам. Этот собор стоит на высоком холме, оттуда виден весь Марсель и Средиземное море. Здесь тепло, погода чудо! Завтра мы будем путешествовать по французскому югу. Дымчатый, знаешь, здесь здешний собор весь увешан моделями парусников, лодок, даже автомобилей и самолетов. Это люди молились за своих погибших родственников. Каждый оставлял в соборе изо-

бражение судна, которое потерпело в море крушение...»

Люба быстро сунула блокнотик под подушку, потому что в дверь постучали. Огляделась, затолкнула в чемодан раскиданное белье. Стук повторился, она сказала: «да», но дверь открылась еще до этого «да».

— Товарищ Медведева, к вам можно?

Конечно же это был Миша. Его голос прозвучал совсем по-домашнему, и Люба даже обрадовалась.

— Разрешишь мне посидеть в этом буржуйском кресле? — Бриш был заметно пьян. — Не бойся, я не усну. Вы, товарищ Медведева, несерьезно себя ведете. Утром ушли, никого не спросясь. Заблудились в чужом заграничном городе. Вам что говорили на последнем инструктаже?

— Ладно, ладно...

— Вот именно-с, ладно! А знаете ли вы, товарищ Медведева, за кого принимают женщину в Марселе, если она одна на улице, да еще вечером?

— Но я же не вечером...

— Тем хуже, если с утра! — рассмеялся он.

«Боже мой, как постарел, — подумала Люба, — а давно ли сидели за одной партой?»

— Я знаю, что ты сейчас подумала.

— Да?

— Ты подумала: «Неужели этот старик и есть тот самый одноклассник, с которым вместе зубрили бином Ньютона?» Так вот, это именно я. Тот самый, Любаша. Ты ничуть не ошиблась.

Она рассмеялась, а Бриш пристально посмотрел в ее переносицу.

— Где твой приятель? — спросила Люба, чувствуя какую-то неловкость от его не совсем обычного взгляда.

— Ушел смотреть секс-фильм.

— А ты-то чего теряешься?

— У меня нет валюты, — сказал Бриш. — Надеюсь, позволишь мне закурить?

— А что, у него есть валюта? — Люба взяла предложенную карамельку.

— У Аркашки есть все! Даже любимая женщина...

— Ну, Мишенька... ты что, ему завидуешь?

— Завидую, но не ему.

— Кому же? — Она тут же покаялась, что задала этот вопрос, но было поздно.

Он сильно вздохнул и вытянулся в кресле. Люба почувствовала, что краснеет.

— Ты, кажется, прекрасно знаешь, кому я завидую, — смелея, сказал он.

— Можешь не продолжать...

Она встала и поправила волосы.

— Нет, откуда он взялся, твой Медведь? — не унимался Бриш. — Пришел, увидел, победил... И уши у него торчали, помнишь? Точь-в-точь как у медведя. Учти: ни у меня, ни у Славки Зуева уши так не торчали...

Люба начинала терять терпение. Она спросила:

— А как сейчас поживает Славик? Ты с ним встречаешься?

— Редко, но метко. После каждого автономного плавания мы пьем с ним в ресторане «Прага». Главным образом за ваше здоровье, мадам!

— Он женат? — Люба еле сдерживала зевок.

— Конечно. Разве ты не знаешь его жену?

— Наталью? Еще чего!

— Вот и я говорю, что вы с ней приятельницы...

Он умел понимать повороты причудливой женской логики, но не заметил ее второй зевок. Наконец он встал — длинный, нескладный, вызывающий у нее жалость.

— Прошу пардону, я исчезаю... Адью... — Не касаясь ее, он приподнял на ладони ее волосы. — А ты такая же. Только еще больше похожа на Лопухину... Ту самую, с портрета Боровиковского.

Он ушел, и Люба, обманывая себя, подумала: «Почему он не женится?» Конечно, ей было давно известно, почему он не женится. Бриш был так же, как в школьную пору, влюблен в нее. «Но, боже мой, как хочется спать!» Она едва нашла силы замкнуть дверь, раздеться и лечь в постель.

2

Почему раньше не замечалась эта медлительность? Трап двигался к самолету, как черепаха, стюардессы, казалось, еле переставляют ноги. Пограничники и те никуда не спешили. Но особенно долго пришлось ждать чемоданов. Отечественная неразбериха то тут, то там кидалась

в глаза. Парижский рейс перепутался с брюссельским, две разнородные толпы слились воедино. «Многие «парижане» уже никогда не увидят друг друга», — подумалось московскому наркологу Иванову, когда он встал в очередь к паспортному контролю. Так, первая очередь. Первый толчок. Наконец, первые фразеологические единицы. «Ну и не возникай!» — твердо произнес верзила в бобровой шапке. Фраза была адресована бритому профессору. Стремясь к порядку около багажного эскалатора, профессор вступил было в пререкания, но от этого «не возникай!» сразу лишился дара речи.

«Наверное, гидростроитель, — подумал Иванов про верзилу. — Строит каналы для бедных дехкан. Только зачем весной он водрузил на свою тупую голову бобровую шапку?» Профессора было жаль, но нарколог ничем не мог подбодрить его...

В Авиньоне Иванова поместили в одном номере с профессором. Дяденька, конечно, храпел, но вполне умеренно. Соседи в общем-то были довольны друг другом и на экскурсиях, старательно пытаясь постичь начатки Витрувия, садились вместе, поближе к гиду.

— Обратите внимание, — всегда одинаково начинал мсье Мирский. — Слева от нас типичный образец функциональной архитектуры.

Образцы менялись то на позднюю готику, то на раннюю. Больше он ничего не рассказывал.

Другая компания обосновалась в дальнем углу автобуса, и там никто не слушал про архитектуру. В центре обычно усаживались две супружеские четы, маленькая домовитая женщина со своим старпоявился «ФЭДом», строгая переводчица и парень с ЗИЛа. Иванов все время боялся, что они вот-вот затянут «Подмосковные вечера». В университетском городе Экс такая попытка была, но хор не состоялся из-за лозунга, начертанного пульверизатором на бетонном откосе. С помощью латыни Иванов управился с переводом без переводчиков: «Молодость минус революция равняется национализму». Итак: М—Р=Н. А чему же будет равна молодость? Н+Р, что ли? Что-то в этом уравнении было не то. Иванов хотел поделиться своими сомнениями с бритым профессором, но тому было не до алгебры.

— Дорогой мой, это для нас этап, и давно прошедший, — убеждал он молодого зиловца. — Они тоже при-

дут к коллективным формам, ни одна страна этого не избежит. Вы посмотрите, какие клочки! Тут же на тракторе не развернуться.

— А чего ж мы пшеницу-то у них покупаем? — не сдавался зиловец.

— Товарищи, обратите внимание! — кричал в микрофон гид, но его никто не хотел слушать. — О-ля-ля, — сказал тогда мсье и положил микрофон.

Иногда Иванов тайком, коротко смотрел в сторону Любови Викторовны Медведевой. Ее окружали те же люди: лысый журналист в светлом костюме, без галстука и конечно же Михаил Бриш, о котором нарколог так много слышал от Зуева, своего шурина. «Кажется, окончил Бауманский. Или МФТИ вместе с Медведевым? — думал нарколог. — Но она-то...» Нет, неужели она забыла Иванова? Явно не помнит, иначе кивнула, поздоровалась бы. Что ж, если она и сейчас не узнала его, значит, она просто его забыла. А может, никогда и не запоминала. С какой стати? Она не обязана запоминать всех приятелей мужа. На свадьбе было человек семьдесят. Ничего не значащая фамилия, совершенно банальная физиономия. Медведев, видимо, не очень и хвастается перед женой своими друзьями. Это что, плохо? «Но, во-первых, откуда ты взял, что ты ему друг? Может, он вовсе и не считает тебя своим другом...» Да, Иванов прекрасно помнил свадьбу Медведевых. Сестра Валя до сих пор не могла простить ему эту свадьбу, словно это он стал виновником медведевского отказа. Собственно, она-то и познакомила его с Медведевым. Тогда Валя уже готовилась к тому, чтобы покинуть родное гнездо и переехать на медведевский Разгуляй. Какое занятное название! Иванов бывал там несколько раз. Трехкомнатная квартира Медведевых почти всегда была заполнена звуками шопеновских мазурок и полонезов. Вначале Иванов был равнодушен к этим звукам. Куда больше волновал его — тоже всегдашний — запах печеного теста. Пироги у Медведевых пекли по всем праздникам. Может, как раз это обстоятельство и помешало Иванову стать медведевским шурином: сестра Валя питала какую-то особую неприязнь к званию домашней хозяйки. Стирка, уборка, кухонные и детские хлопоты и сейчас, когда она стала женой прапорщика, представляются ей верхом женского унижения. А ее музыкальные интересы не расширились дальше песенок

Пугачевой. Немудрено, что тогда Медведев неожиданно предпочел другую. Люба преподавала музыку, а Медведев всегда и во всех женщинах улавливал в первую очередь свойства своей матери. Остальные свойства он замечал тоже, но всегда с запозданием и с некоторым недоумением...

Иванов изловил себя на предвзятости. Наверное, еще сказывалась родственная обида. Честно говоря, так и должно было произойти. Ведь ко всему этому Люба была еще и красива. Красота ее не была той красотой, с которой женщина из боязни утерять или чем-то испортить ходит как с хрупким драгоценным сосудом. Нет, Любина красота ничего не боялась, не оставляла свою хозяйку даже в самых неподходящих условиях. Лицо Любы Медведевой постоянно менялось. У этого лица имелось не дватри выражения, а великое множество. Иванов заметил это еще в день медведевской свадьбы...

Медведева угораздило жениться в разгар московского лета. В переулке, где прошла регистрация, белым снегом улегся пух тополей. Особенно много скопилось его вдоль тротуарного выступа. Когда молодые вышли на улицу, кто-то крикнул им: «Бегите!» — и подпалил тополиный пух. Огонь стремительно догонял жениха и невесту. Люба с Медведевым, смеясь, побежали к стоянке, и этот смех особенно запомнился Иванову. Не очень большой белоколонный зал в ресторане одной из московских гостиниц ждал гостей. Иванов мало кого знал на том веселом сборище. Помнится, Дима смачно хлопнул его по спине: «Выше нос, старичок» — и исчез. Поджидая приглашения к столу, гости скопились в другом помещении. Люба откинула за спину свадебную кисею, открыла крышку обшарпанного пианино. Что же играла тогда жена Медведева? Он запомнил лишь отзвуки удивительной внутренней теплоты, какого-то радостного и одновременно грустного покоя, излучаемого прекрасными, отрешенными от всего звуками. Спустя несколько дней, подъехав к даче медведевской тещи, он снова услышал те же чистые умиротворяющие звуки, похожие на послегрозовую капель. Не хотелось вылезать из такси, и он слушал, дожидаясь Медведева. Нетемная ночь мерцала огнями дачной Пахры. Воздух вокруг был каким-то странным, недвижимым. Не желая спугивать необычно отрадное свое состояние, Иванов тихонько вылез из машины и

ступил ближе к туману и полю. Звуки не стали его преследовать. Он остановился и вдруг вдалеке увидел белую, скорее всего цыганскую лошадь. Она щипала траву и была намного белее тумана. И все это — сочетание тумана и прекрасных звуков, видение белой лошади и запах теплой земли — обескураживало, заставляло вспоминать нечто необыкновенное и забытое, но, по-видимому, самое главное. Но что же в жизни самое главное? Он вернулся к машине и сел на заднем сиденье. По-прежнему сильно пахло влажной землей, а через дачную веранду или, может, через окно вылетали в летнюю ночь, рассыпались и таяли в темноте невыразимо прекрасные звуки. Странно! Ведь до того он был вполне равнодушным к фортепьянной музыке...

— Александр Николаевич, о чем вы опять думаете? — сказал бритый профессор. — Отдохните, не думайте. Как говорил один мой знакомый: пусть думает лошадь, у нее голова больше!

Профессор громко расхохотался. Дама с мужскими манерами строго на него поглядела, и он затих, как первоклассник. Группа покидала автобус, Иванов потеснился, чтобы дать ход инвалиду. Еще в начале поездки нарколог случайно услышал разговор: «А это кто?» — «Не знаю. То ли химик, то ли писатель». Речь шла о Саманском. Это был, пожалуй, самый занятный человек в туристической группе. Никто не успевал столько узнать, как этот сухой, хромой, но очень подвижный Саманский. Лицо у него было цвета той меди, из которой в Болгарии клепают сувенирные котелки. Простодушное, даже наивное выражение то и дело сменяла напускаемая серьезность, этакое величавое важничанье. Несмотря на сильную хромоту, он совал свою клюшку во всякие рискованные места. Потел, но, словно засидевшийся в духоте спаниель, успевал обследовать многие закоулки. Он первый выяснил, как пользоваться раскладным душем, в любых местах безошибочно определял, где находятся туалеты. Саманский бесцеремонно обращался к французам, везде слышалось его неизменное «сильвупле». Правда, его мало кто понимал, и тогда он переходил на испанский. Но его испанский французы понимали еще хуже, после чего он снова переходил на русский.

— Кантаро кон агуа? — сказал он как-то за обедом.

Иванов не понял и спросил:

— Что, что?

— Извините, я попросил воды по-испански. Я забыл, что вы русский.

— Ничего. Это бывает, — миролюбиво сказал Иванов.

Однажды, когда остановились у древнеримских памятников, Иванов нарочно задержался у выхода из автобуса. Люба Медведева равнодушно скользнула по нему взглядом, она явно его не помнила. Или она близорука?

Иванов первым вернулся в автобус. Он закрыл глаза, желая представить римские легионы, двигающиеся по этим невысоким холмам. Но он не услышал ни звона тяжелых мечей, ни скрипа кожаной амуниции. Конский и человеческий пот не ударил ему в нос, отрывистые команды не напомнили о лапидарной четкости бронзовозвучной латыни. Почему-то в голове звучали лишь термины медицинских рецептов.

— Вернемся к нашим баранам, — услышал он голос Аркадия — теперь уже постоянного спутника Любы Медведевой.

Из-за ночного дождя группа не смогла заехать на мельницу Альфонса Доде. Мсье Мирский показал ее только издали. Зато средневековый городок Лебо вызвал общий восторг. Он был построен на высоком скальном массиве. Отвесные каменные уступы вздымались ввысь, и там, вверху, крыши домов, уютных и почти игрушечных, служили подножием для других домов, улочки и миниатюрные площади напоминали строения детского городка. Узкие проемы каменных лестниц вели выше и выше, пока туристы не очутились на обширной площадке.

Вид, открывшийся сверху, был почти фантастическим. Нигде, никогда не видел Иванов таких контрастных красок, таких выветренных отвесных склонов. Ровные зеленые площади лежали на разных уровнях. Зелено-желтые травы и редкие острова лесов уходили далеко в горизонт. Желтое от дождей небо кое-где было оранжевым, кое-где фиолетовым, и от всего этого повеяло вдруг необъяснимой тревогой. Внизу, у подножия Лебо, группа впервые утеряла единство.

— Уже шестой день, а Парижем не пахнет, — произнес Бриш. — Кто составил такую дурацкую программу? Неужели это вы, Матвей Яковлевич?

— Ваше мнение для меня не совсем ожиданное,— серьезно ответил гид.— Провансом интересуются буквально все.

Слышалась немецкая и английская речь. Среди шумных баварцев в зеленых жилетах и в шляпах с куриными перьями, среди богатых и чопорных американцев нет-нет да и просачивались напевные звуки славянских глаголов. Немцы в зеленых жилетах кричали и толкались почти по-нашему. Только ходили за гидом совсем не по-нашему: стоило ему подать знак, и они устремлялись за ним, словно на приступ.

Когда автобус тронулся, мсье Мирский опять назвал москвичей товарищами, а молодой шофер мельком перекрестился.

— Он что, коммунист? — как всегда невпопад, спросил бритый профессор про шофера.

Переводчица покачала головой, сомневаясь.

— Верующий! Католик...— сказала женщина с «ФЭДом».

Теперь начали удивленно рассматривать шофера, словно увидели его впервые. Две или три супружеские пары то громко смеялись над чем-то давно прошедшим, то напряженно стихали. Иванов прислушался к задней компании. Гул двигателя глушил разговор, но отдельные фразы долетели вполне отчетливо.

— А за что вы так не любите верующих? — услышал Иванов смех Любы Медведевой.

— Я? Откуда вы взяли? — вопросом на вопрос ответил Аркадий.

— Он их обожает! — засмеялся Михаил Бриш.

Около гида важничал Саманский:

— Скажите, мсье, как современные французы относятся к Парижской коммуне?

— Положительно! А как можно иначе? — ответила за гида одна из москвичек.— Стыдно даже слушать такие вопросы!

«Все смешалось в доме Облонских», — пришло на память наркологу, когда Саманский, недолго думая, начал разговор о сексе вообще и о сексуальной революции в частности. Туристы забыли, что едут по капстране. Нарколог Александр Иванов, подобно Дон Кихоту Ламанчскому, всегда и везде был «жаждущим справедливости». Сослуживцы так его прямо и называли: «Жаждущий спра-

ведливости». Вероятно, кличка не приставала к нему только из-за неудобства в произношении. И вот, услышав голоса в пользу разврата, Иванов хотел было ринуться в бой, но вовремя опомнился и затих, глядя на зеленые нивы провансских фермеров.

Город Арль окончательно утихомирил его тишиной и вечерним теплом. Хозяин гостиницы во главе с внушительным, но очень добродушным сенбернаром встретил гостей, перезнакомился с ними и рассказал о себе все, что знал. Может быть, даже чуточку больше. Но лучше бы не было ни города Арля, ни этой ночи, ни этой гостиницы!

Переводчица пересчитала паспорта и начала их раздавать вместе с ключами от номеров.

— Ивано́ф, где у нас Ивано́ф?

— Я, — по-солдатски сказал нарколог. — Только не Ивано́в, а Ива́нов.

Он подумал: «Сейчас скажут, что был такой Ива́нов в пьесе Чехова или что был такой художник Александр Ива́нов».

— У моей подруги первый муж тоже был Ива́нов, — сказала переводчица.

— Очень приятно!

Не спрашивая фамилии второго мужа подруги, Иванов схватил ключ и поскорее поднялся наверх. Номер был одноместный, отчего настроение снова улучшилось. Никуда не хотелось, но усталость не могла-таки пересилить голода. Пришлось собираться на ужин. Он надел свежую и, увы, предпоследнюю сорочку. На Париж оставалась всего одна. «Что ж, пощеголяю и в водолазке, — подумал он. — А где же стирать эти рубахи? Тут экономят не только хлеб, но и воду...»

В соседнем номере щелкнул дверной замок, послышались голоса. Стенка была так тонка, что различался шелест плаща.

— Если бы ты наставил рога этому жлобу Медведеву, я бы только приветствовал, — сказал Михаил Бриш. — Но это исключено...

— Хочешь пари? — ответил веселый голос.

— Говорю тебе, ты проиграешь. А что ставишь?

— Бутылку лучшего виски.

— Я согласен только на «Белую лошадь».

Раздался шлепок ладоней. Иванов почувствовал, как

полыхнуло жаром лицо, словно его ударили сразу по обеим щекам. Он оцепенел, не двигаясь, а когда пришел в себя, в соседнем номере было уже тихо. Да, там уже никого не было. Он долго сидел в кресле. Ему хотелось заплакать, но он, усмехаясь, сошел вниз, небрежно спустился по скрипучей узенькой лестнице, обитой пушистым ненатуральным ковром. Затем по возбужденному гулу нашел то место, где кормили туристов. Ужин был в полном разгаре.

3

Багажа все еще не было, чешуйчатая лента эскалатора не двигалась.

Все дни, прожитые в Париже, да и сейчас в Шереметьеве, Иванов чувствовал себя соучастником преступления. Чем больше старался он забыть, не думать о случайно услышанном пари, тем больше думалось. И тем неопределеннее становились его поступки. Что делать? Надо было еще в Арле как-то помешать, остановить то, что творилось на его глазах. Но имеет ли он такое право? Захочет ли остановиться она? И чем бы ответил на все это сам Медведев? Сестра говорила как-то, что Дима, как славянский волхв, предсказывает события. В школе его так и прозвали — Предсказатель событий. А может, он уже знает о подобных событиях? Нарколога мучили эти вопросы, но Париж есть Париж...

В гостинице «Ситэ-Бержер» еще работали старинные лифты, похожие на клетки для цирковых зверей. В некоторых номерах около кнопки для вызова прислуги еще сохранились медные таблички, где наряду с английскими и немецкими надписями красовалось русское «горничная». Но внизу в ресторане уже много лет не работали официантами белокурые русские поручики. Группу обслуживали коричневые и черные алжирцы, грустные, молчаливые и предупредительные. Москвичи все еще не научились жевать сыр после десерта. Один Саманский разыгрывал гурмана и каждый раз пробовал другой сыр. Одновременно он демонстрировал свои жуткие познания в испанском. Но кто это мог заметить? Приятель Бриша Аркадий обронил как-то очередной экспромт: «Средь нас один Саманский постиг язык испанский».

Позавчера, отказавшись от сыра и запоминая дорогу назад, нарколог в одиночку покинул ресторан и вышел на Монпарнас. Вначале его поразили и вежливая толкучка, и огни роскошных реклам, и веселые озабоченные лица прохожих. Но толпа зевак погасила ивановскую восторженность. Человек тридцать праздных гуляк наблюдали за двумя обнаженными по пояс уличными артистами. Один из парней показал лезвие безопасной бритвы, положил в рот и начал осторожно жевать. Иванов, стоявший совсем близко, слышал, как хрустела на зубах сталь. Парень сделал глотательное движение. Второй набрал из канистры полный рот бензину, и двухметровая огненная струя вылетела прямо на проезжую часть. Толпа тотчас разошлась. В коробке из-под кинопленки белело две или три монеты. Иванову хотелось положить этим ребятам франк либо два, но было почему-то стыдно, и он поспешно пошел дальше.

На углу продавали жареные каштаны. Киоски, заваленные газетами и журналами, бросались в глаза ярким своим освещением. Каких только красоток и в каких только позах не было на обложках! Иванов припомнил, как однажды Аркадий отложил книгу Раймона Арона «Опиум для интеллигенции» и в шутливой манере завел разговор о площади Пигаль. Почему, дескать, ее совсем нет в программе? Тогда бритый профессор всерьез потребовал от гида экскурсию на плац Пигаль. Кто-то хихикнул, а мсье Мирский сказал:

— Мне это, прямо отвечу, не совсем ожиданно!

Профессор понял, что угодил впросак. Он честно признался, что ничего не знал про эту парижскую площадь. У нарколога все эти дни было чувство остановленного времени. Или оно пошло вспять? Невыспавшиеся, в помятой одежде, туристы часто ссорились. Люди, видимо, изрядно поднадоели друг другу. Дурное настроение дружно возмещали на бедном Саманском: он регулярно исчезал. Искать его отряжали обычно зиловского Володю и хозяйку старого, давно исщелканного «ФЭДа». Во время последнего исчезновения Саманский был обнаружен в самом дорогом автомобильном салоне. С рекламным листом в руке он всерьез запрашивал цену последней модели «бьюика».

На площади Согласия, на Елисейских полях и у Триумфальной арки нарколога не оставляла какая-то

страшная горечь. Однажды, когда остановились у дворца Шайо, он хотел заговорить с Любой Медведевой, но Люба смотрела сквозь него. С площади открывался вид на башню Эйфеля. Иванов не испытал никаких чувств при виде этих железных нагромождений: чудо минувшего века напоминало всего лишь высоковольтную мачту. Музей импрессионистов выжал из него последний запас дневной энергии. И все же он успел прикоснуться к мощной природной силе гениального Ван Гога. Еще издали увидел Иванов зной над полем и хлебные скирды с отдыхающей под ними крестьянской четой. Казалось, рама была всего лишь окном в это жаркое поле. А в нижнем зале рядом с превосходным женским портретом висела незаконченная картина Тулуз-Лотрека. Художник изобразил на ней женщину в отвратительной, совершенно циничной позе. Зачем? Для чего было помещать эту картину здесь, рядом с этим портретом? Непонятной, издевательской показалась Иванову и одна из скульптур в музее Родена: там женщина изображена была в позе лягушки...

Парни со способностью йогов складывали свои жалкие пожитки: канистру, какие-то палки и трубки. Иванов, стараясь не заблудиться, пошел обратно. Воспоминание о доме шевельнулось в груди сладким сердечным всплеском. Уже нестерпимо хотелось домой, к близким и родным людям, но и Париж ведь едва коснулся тебя, едва приоткрылся. Как будешь жалеть потом, что спал по семь часов в сутки, не видел того, другого, третьего...

Он без труда нашел арку «Ситэ-Бержер», минут пять стоял у открытого входа в подъезд и хотел было войти, взять ключ и уехать на свой этаж. Но услышал женский веселый смех от которого сжалось сердце. Сомнений не существовало — смеялась Люба Медведева. Она возвращалась из бара, сопровождаемая Аркадием. Держа ее за локоть, журналист говорил, говорил, говорил... Иванов отшатнулся в неосвещенное место. Итак, они уже вдвоем и на «ты»... А где Бриш? Щелкнул замок, лифт уплыл вверх. Иванов, стараясь быть спокойным, ступил в вестибюль, показал портье визитную карточку. Тот улыбнулся и подал ключ. Иванов сначала тихо, потом быстрей пошел вверх по лестнице. Он все вспоминал номер, где поселилась Люба, вспоминал и не мог вспомнить. Он знал лишь этаж, этаж был третий, не считая самого нижнего.

Но вот же он, третий! Вернее, второй по здешним правилам. Он осторожно ступил к коридорному повороту и тут же отпрянул назад... Люба с Аркадием стояли у двери номера, Аркадий целовал ее руку. Он тихо сказал ей что-то, она ответила также тихо, и тут свет погас. Здесь умели экономить электроэнергию. Свет зажигался ровно на столько, чтобы успеть пройти от лифта до номера и открыть дверь. После этого он автоматически выключался. Но Иванов не знал об этом буржуйском новшестве...

«Черт бы побрал,— очнулся он и покраснел от стыда.— А какое мне дело? Наплевать, пусть...» В темноте он ступил назад, нащупал лестничные перила, нащупал ручку и кнопку лифта. Свет почему-то снова вспыхнул. И тут Иванов, не ожидая этого от себя, опять подошел к коридорному повороту. Шаги глушились ворсом синтетической обивки. Он снова взглянул туда, в конец коридора, но у Любиной двери никого уже не было.

Это произошло за какие-то одну-две минуты. Он посмотрел на часы — было половина двенадцатого. В номере он открыл чемодан, достал шоколадную плитку и бутылку армянского коньяка... «Что же это? — спросил он себя.— Нарколог... Ты нарколог? Нарколог, а пьешь. Да еще один. И это второй раз. Или в третий? Рефлекс уже закреплен...»

Ему показалось, что два глотка коньяка сделали его сознание яснее. «Я обо всем расскажу Медведеву,— сказал он мысленно.— Обо всем. И пусть он гонит от себя эту продажную тварь».

Он почувствовал, как родился, отвердел тяжелый и горький ком горловой спазмы. Хотел налить снова, но в дверь постучали. Иванов никого не хотел видеть, не отвечая, прошел в ванную. Но стук повторился. «Войдите!» — крикнул Иванов и закрыл кран.

Вошел Бриш в спортивном костюме:

— Не могу уснуть, старик. У вас нету таблеток? Вы, кажется, имеете отношение к медицине.

— Таблеток нет. Есть армянские капли,— мрачно произнес Иванов.

— Вы неплохо устроились,— сказал посетитель, разглядывая ванную.

Иванов не ответил. Он полоскал стакан.

— Друзья познаются в беде,— добавил Бриш раздельно и жестом отказался от коньяка.— Извини, старик, пойду спать.

Иванов ничего не успел ответить, дверь щелкнула.

Он просидел в кресле до трех часов. Забылся, потом брезгливо сунул бутылку в платяной шкаф, разделся и лег.

Все это случилось позавчера, а вчера, накануне отъезда, женщины вздумали назвать последний ужин в Париже «вечером отдыха». Больше других хлопотала об этом «вечере» хозяйка старого «ФЭДа».

— Товарищи, товарищи, одну минуту, есть объявление! — лепетала она в автобусе и обращалась то к одному, то к другому. По ее словам, надо было принести с собой на ужин все оставшиеся «сувениры», что и было сделано.

Бутылок «Столичной» оказалось так много, что за столами возникла торжественность. Пришел представитель туристической фирмы, господин в синей сорочке с галстуком-бабочкой. Никто не запомнил его имени. Он сказал несколько слов во имя дружбы и с великим трудом глотнул из бокала. Минуты две приходил в себя, а вскоре незаметно исчез.

В зале имелась небольшая эстрада, стоял рояль. Когда вежливые, в белых куртках, алжирцы разнесли мороженое, бритый профессор произнес речь и незаметно для себя вошел в роль тамады. Он каждому усиленно предлагал выступить или сделать что-то иное, например, спеть или прочесть стихи. Иванов наблюдал за всем этим с профессиональной точки зрения...

Ему хотелось еще раз увидеть вечерний Париж, а вместо этого он выслушивал нелепые и бесконечные тосты.

Слово взял мужчина одной из супружеских пар. Он рассказал анекдот. Затем говорил Саманский, причем такую несуразицу, что все замахали руками. Нашлась и певица. Та самая, что имела манеру перекладывать за обедом куски из своей тарелки в тарелку соседа: «Пожалуйста, съешьте, мне ни за что не съесть». Она под свой собственный аккомпанемент спела романс на слова Беранже. «Подайте милостыню ей!» — звенело под потолком чуть ли не басом.

— Александр Николаевич, а вы что отсиживаетесь? Вам, вам слово! — кричал бритый профессор.

Иванов водку не пил, но французское розовое тоже имело силу. В голове образовалась каша, он не знал, что и о чем думает. К счастью, профессор перекинулся на Ар-

кадия. «Почему все они такие уверенные в себе? — подумалось Иванову. — Профессор, хозяйка «ФЭДа». И этот пижон с грустной улыбкой. А что он читает? Экспромт? Нет, наверняка придумано раньше...»

Жидкие хлопки заставили Бриша и Мирского прервать разговор на какую-то важную тему. Но они продолжали объясняться даже и тогда, когда на эстраду вышла раскрасневшаяся Люба Медведева. Сначала она играла неуверенно, помогая рукам всем корпусом. Под конец движения стали раскованнее, эластичней, музыка начала как бы отдаляться от исполнителя. Любу вынудили играть еще и еще. Иванов достал авторучку и написал на бумажной салфетке: «Чайковский. «Июнь. Баркарола». Если можно». Он послал эту записочку по эстафете, но было поздно, Люба как раз убегала с эстрады. Она села, пробежала глазами записку и вдруг отвернулась. Прикусывая губы, шевельнула ресницами.

Минут через пять, когда бритый профессор наметил очередного оратора, Иванов незаметно подсел к столу Любы.

— Это я просил исполнить Чайковского, — сказал он.

— Да? А откуда вы знаете, что я люблю «Баркаролу»?..

— Я был даже на вашей свадьбе, — он улыбнулся. — Моя фамилия Ива́нов.

— Так вы и есть тот самый Ива́нов? Муж так много о вас рассказывал...

— Хорошее или плохое?

— Конечно, хорошее.

— Вот идут ваши приятели, — сказал он, замечая, как наливается розовым ее нежное, обрамленное светлой прядью ухо.

Вокруг суматошно менялись адресами и телефонами. Прощаясь с гидом, все начали дарить ему сувениры. Это были значки, матрешки, открытки и расписные деревянные ложки. «Французы совсем редко едят суп, — заметил не имевший сувениров Саманский. — Главным образом — пюре». Никто не удостоил вниманием эту вполне резонную реплику.

4

Таможенники решили сделать выборочную проверку, дело шло медленно. Встречающие махали из-за барь-

ера, группа на глазах таяла, исчезала. Все враз позабыли друг друга. Иванов наблюдал этот стремительный развал без всякого сожаления. На один миг он взглянул в распахнутый бришевский чемодан. Надежда на то, что в чемодане едет «Белая лошадь», озарила было сознание, но эту надежду заглушало отвратительное чувство подглядывания. Он отвернулся.

— Мама, мама! — послышалось вдруг звонко и по-домашнему. Иванов увидел Верочку — шестилетнюю дочь Любы Медведевой. Девочка высоко подпрыгивала от нетерпения. Мать Любы, Зинаида Витальевна, едва удерживала ребенка. Строгая таможенница и та улыбнулась, услышав этот восторженный детский крик. Забыв про свой чемодан, Люба бросилась к дочке и к матери, схватила ребенка, подняла, крутнула в одну сторону, потом в другую...

Иванов не стал искать глазами остальных спутников, чтобы попрощаться, да и его, вероятно, никто не искал. Тридцать рублей, найденные в бумажнике, показались удивительно полновесными. «Видали мы эти капстраны!» — бодро подумал он и завернул в буфет. Вспоминая, как трясся в Париже над каждым франком, как считал алюминиевые сантимы, он едва не выругался. Самое смешное, что все купленные сувениры через неделю потеряют всякую ценность, нарколог знал это по опыту венгерской поездки.

А вот и он, отечественный буфет. Не очень разнообразно, зато дешево и сердито, бери, не оглядывайся. Оставь только шесть рублей на такси.

В толпе еще раз мелькнула красная вязаная шапочка медведевской дочери. Держа Зинаиду Витальевну под руку, Люба другой рукой вела все еще подпрыгивающую девочку. Они шли за тележкой, которую Бриш толкал в направлении такси.

Иванову вспомнилась почему-то давнишняя школьная загадка: «Два отца и два сына несли три апельсина. По сколько нес каждый?» Она давно устарела, эта загадка, думал Иванов. Ее бы надо переиначить. Наверное, она бы звучала теперь по-другому. Ну, например, так: «Две мамы и две дочки тащили три огуречных бочки...» И так далее. Не возникай!

Иванов был разведен с женой. Они жили на разных квартирах, но у обоих никого, кроме друг друга, не было.

Оба, не подозревая того, были верны друг другу. Свое неопределенное семейное положение Иванов был склонен объяснять только женской эмансипацией. «Две мамы и две дочки... не возникай!» Как бы избавиться от штампа?

Торопиться вообще-то некуда. Но стремительный туристический, а может, буржуазный парижский стиль уже внедрился в кровь, подобно очередному московскому вирусу. Когда единственное такси пришлось уступить иностранцу, Иванов, недолго думая, подцепил частника. Можно бы ведь сказать этому иностранцу: «Не возникай!»

Черт знает что! Уступишь женщине место, а потом часа два вспоминаешь об этом геройстве. Дорогу покажешь — и радуешься: «Ах, какой молодец». Но ведь истинно добрый человек не анализирует свои поступки. Он делает добро непроизвольно. А мы привыкли уже и думать о себе в третьем лице...

«Если его не устроит шесть рэ, добавлю ему пакетик парижской жвачки, — подумал Иванов и вместе с чемоданом залез в старый «Москвич».

От отпуска оставалось всего-навсего сорок четыре часа. Как говорят, рожки да ножки. «Интересно, кому достался армянский коньяк? Хорошо, если горничной...»

Хозяин «Москвича» оказался до того болтливым, что забывал включать указатели поворотов. Иванов молчал. Москва не шутя надвигалась спереди и с боков.

На другой день, едва отоспавшись, Иванов выбрался в город. На́ душе оказалось неожиданно празднично. Дышалось легко, голова была светлой, хотелось двигаться. Иванов радовался весенней Москве, пока не вспомнил Медведева.

«...Свет потух, но совсем ненадолго. Минуты на две, не больше. Гениальный журналист не мог за эти минуты уйти в свой номер. Тем более в темноте. Он вошел к ней, это уж точно. Ну и что? Может, он сразу ушел, это тебе неизвестно. И вообще, не лезь ты в это гнусное дело! Ты и так уподобился бог знает кому. Следил за каждым ее шагом словно ищейка. Отвратительно... Но как же теперь глядеть в Митькины голубые глаза? Как? «Не возникай!» Вот как. Он разберется сам. Он мужик божьей милостью. Он почувствует все сам, такие штучки ничем не замаскировать».

Около метро «Смоленская» Иванов вышел из троллейбуса.

«Сам. Ну хорошо, он-то, допустим, сам. А ты? Друг ли ты-то ему, если будешь молчать как рыба? Нет, надо сразу же позвонить и встретиться...»

Телефон-автомат попался совсем чокнутый: возвратил не одну монету, а две. Так-с. Сестрица: как всегда, с кем-то болтает. Занято. Вместо одной двушки автомат возвращает две. Что-то новое. Когда не возвращают свои кровные — это понятно, а тут... Ну дает, совсем расщедрился. Только зачем Иванову столько двушек?

Не будем обирать государство, перейдем в другой автомат.

«Не возникай!» — всем своим видом говорит девушка, занявшая будку соседнего автомата. Но ты еще насквозь пропитан парижской галантностью, она все еще не выветрилась. Милая, да звони ты сколько тебе хочется. Я ведь могу и не звонить.

Довольный Иванов идет по Арбату.

Очередь в шашлычную не очень большая. Даже кстати: можно снова звонить. Сестре? «Але-у... Валя? Наконец-то мы тебя допекли. Привет. Мы — это я и два телефонных автомата. Вернее, три. Ты обедала? Я занял очередь в шашлычную...»

После недолгой паузы сестра спрашивает, можно ли ей прийти вдвоем с подругой. «У меня всего один сувенир, — смущенно говорит Иванов. — А в общем, валяйте».

Валя — это, наверное, от глагола «валять». Дурака. Она давно сводит с ним эту свою подругу, так как обе работают в одном издательстве.

Через десять минут сестра целует его в щеку. Швейцар пропускает в шашлычную очередную порцию проголодавшихся.

Столик чист, меню на столе.

— Ну, а чего ж ты одна? — спрашивает Иванов.

— Но... Ты же не захотел.

Вот те раз! «Не захотел»... Он же сказал: «Валяйте».

— Что-то ты похудел. Не болеешь?.. Расскажи, как там они.

— Они там нормально. А вот ты как? Детки здоровы? Я слышал, что твой снова в командировке. Куда его носит?

— Туда же, куда и тебя. Только ты — в кап, а он — в соц.

— Знаю я этот «соц». Что будешь есть?

Она не слышит вопроса, она опытными глазами стреляет в шашлычников. Все представления о женской верности снова трещат по швам. Иванову просто хочется взвыть. Он ждет от сестры не подтверждения собственных мыслей, а опровержения. К тому же ей ничего нельзя рассказать! Он и забыл, что она лицо в некотором роде заинтересованное. Семь лет назад у нее прямо из-под носа увели Митьку Медведева. Правда, она сразу же вышла замуж за своего прапорщика. Правда и то, что у них с прапорщиком две великолепные девчушки. Племянницы Иванова одна лучше другой. Но он знает, что у нее зажило только сверху. Нет, с сестрой нельзя говорить на эту тему...

Он хочет заказать коньяку, но Валя искренне протестует: ей надо править какую-то срочную рукопись. Он достает из своего потертого дипломата комплект роскошных фломастеров:

— Вот! Это тебе для расправы над графоманами. Души их, мерзавцев, почем зря.

— Прелесть. А что ты привез себе? Для расправы над алкоголиками?

— Ничего. Кроме двух-трех новых идей.

— Ну, идей-то у них и так хватает.

— Ихние идеи я знаю наперечет, я говорю о своих. Слушай, Валя, одерни юбку.

— Какую юбку? — она пробовала черный фломастер.

— Твою, понимаешь?

Иванов неожиданно для себя сунул руку под стол и сильно дернул за сестрин подол.

— Ты что? — она округлила от удивления глаза. — Рехнулся в своем Париже?

Иванов, вытянув шею, трагическим шепотом произнес:

— Она задралась у тебя выше колен!

Сестра Валя не пожелала, однако, шутить. Она обозвала его дураком. Она оглядела жующих, пьющих, толкующих посетителей. Никто не обращал на них внимания, никто ничего не видел.

— С тобой просто опасно показываться на люди!

— Очень прошу пардону! — дурашливо произнес он

и почему-то снова вспомнил картину Тулуз-Лотрека.— Но ответь мне на один вопрос...

— Опять какая-нибудь пошлость?

— Почему женщинам все время хочется... это самое... обнажать. Растелешиваться, как говорят. Демонстрировать, так сказать...

— У тебя все? Так вот, дорогой. Каждый судит в меру своей испорченности! Каждый...

— Ладно, ладно, больше не буду! Убедила, сдаюсь.

Когда принесли сациви, то бишь курицу в ореховом соусе, он заказал-таки графинчик марочного коньяку. На этот раз сестра почему-то не возражала, и нарколог рассказал ей о своей поездке.

После обеда она проводила его до троллейбуса. Спросила, хитро прищуриваясь:

— А что передать в издательстве?

— Скажи, чтобы с графоманами того... бережнее.

— Почему? — глаза у сестры смеялись.

— Потому что алкоголиков и без того более чем достаточно. Адью, адью! Звони вечером.

«Совсем ничего не понимает,— с улыбкой подумал Иванов.— Ей кажется, что я влюблен в ее подругу». Сама влюбилась, ей и кажется, что и он, Иванов, тоже влюблен. А он забыл даже имя этой подруги. И ничем не переубедишь...

Париж был далече. Да и был ли он вообще, Париж? Словно и не было в жизни ни Парижа, ни солнечного Прованса. Как будто все это просто приснилось. Что это? Разговор с сестрой не принес облегчения. Эдак немудрено тоже стать пьяницей. Да, он пьян, и ему хочется выпить еще! Если завтра он выпьет с кем-то еще, он будет во всем похож на своих злополучных подопечных. Постой... А ее ли был тот номер в «Ситэ-Бержер?» Может, это его, а не ее номер... Тогда еще хуже. Ха-ха! Хуже... Какое имеет значение? Что в лоб, что по лбу. А как самозабвенно схватила она свою малышку. Они летели друг к дружке словно на крыльях...

В кармане плаща, уже нагретые, звякали с полдюжины украденных у государства двушек. Рабочий номер медведевского телефона то и дело всплывал в мозгу. Белая лошадь стояла в глазах. Белая лошадь расплывается в сером тумане! Он, жаждущий справедливости Иванов, слышал ее ночной топот и ржанье. Она ржала, когда оста-

навливалась, эта Белая лошадь. «Ржала, ржать». Слово утратило свою первоначальную чистоту, оно стало выражением цинизма. Неужели дурная судьба преследует даже слова?.. Телефон сработал:

— Алло? Медведев слушает. Я слушаю вас. Кто звонит?

Иванов был в полнейшей нерешительности. Он молчал. Язык у него словно присох. В трубке послышалась ругательная скороговорка, затем длинный-длинный гудок. Набравшись духу, Иванов снова набрал номер, но теперь за Медведсва ответил некто Грузь, голос которого был знаком:

— Медведев? Товарищ Медведев только что был. И весь, к сожалению, вышел.

Иванов назвал себя, но теперь Медведева и впрямь не было. Грузь не обманывал.

— С прошедшим вас, — прозвучало в трубке.

— Что, что?

Иванов покинул телефонную будку. Он старался определить, с каким праздником поздравил его Грузь, но так и не определил, поэтому пришлось купить в киоске газету. Иванов узнал, что поздравили его с Днем радио. И каких только праздников не насовано в календарь! Иванов признавал только послезавтрашний День Победы. И конечно же Новый год. Даже День Военно-Морского Флота, так почитаемый Славкой Зуевым — военным подводником, братом Светки и в общем-то единственным настоящим другом, — не вызывал ивановского энтузиазма. Девальвация праздников и наград опережает порой денежную. Во всяком случае, стремится не отставать. Где-то сейчас Зуев? В каких ныряет глубинах?

Иванов вспомнил давно прошедшие дни.

5

Они, эти дни, частенько вспыхивали в его памяти. Хотя и не по порядку, но очень явственно. Иные детали давно бы пора забыть. Ну, например, таракана, который жил тогда в пельменной напротив Политехнического. Помнилась и удушливая жара, связанная с... Ах, черт бы побрал, опять эта гнусная картинка. Та самая, со стрижкой ногтей. Почему она с таким отвратительным упорст-

вом сидит в памяти? Теперь вот еще этот Тулуз-Лотрек...

Иванов готовил тогда диплом и ежедневно ждал приезда жены. Она раньше его закончила институт, работала в одной черноземной области и всегда неожиданно приезжала в Москву. Конечно, Светлана ни за что не хотела примириться с потерей столицы. Она приезжала, как приезжают с ежедневной работы. Ее лучший халат и тапочки всегда ожидали ее в прихожей.

Надо сказать, что незадолго до этого Иванов оказался достойным свидетелем на свадьбе ее брата, то есть шурина. Они были дружны с Зуевым как раз в той мере, которая подразумевает возможность полной откровенности и в то же время полной необязательности по отношению друг к другу. Но такое содружество не может быть долговременным. Оба стояли перед неизбежным выбором: либо перестать быть откровенными, либо заразить друг друга обоюдными болями. И вот сразу же после зуевской свадьбы оба понадобились друг другу, почему и встретились в пельменной напротив Политехнического музея.

— Хочу, чтобы он был! — тупо бубнил Иванов, глядя в тарелку с пельменями. — Я не хочу, чтобы его не было!

— Откуда ты знаешь, что он? — улыбнулся тогда Зуев. — Может, она...

Иванов помнил, с какой легкой небрежностью шурин сходил за уксусом к соседнему столику. Пельменная оказалась недостаточно тесной, чтобы переносить разговор в другое место. Но Иванова вывел из себя рыжий пруссак, стремительно пробежавший расстояние между батареей отопления и закутком уборщицы. Зуев по-военному быстро допил теплый компот, оставив на дне стакана канареечно-желтые дольки апельсина.

— Я бы не прочь иметь племянницу, — сказал он, когда двинулись к метро. Форменная кремово-желтая рубашка на его мускулистом торсе была почему-то совсем сухая. Тогда у него тоже было все впереди. Погоны золотились на плечах, сверкали двумя звездами каждый. Начищенные ботинки блестели, несмотря на жару.

— Ты поговори со своей, — сказал Иванов, когда подходили к площади Свердлова. — Пусть она сделает для меня доброе дело! Женщины лучше понимают друг друга...

— Нет, — ответил Зуев.

— Почему?

— Именно потому, что женщины, как ты говоришь, лучше понимают друг друга. Я поговорю с сестрой сам. Когда она приедет в Москву?

Иванов сказал, что это никому не известно и что старания вполне могут быть запоздалыми. И тогда Зуев ринулся совсем по другому маршруту. Иванов едва успевал за ним...

Зуев шагал прямиком к Центральному телеграфу. Иванову было несколько стыдно за зуевскую бесцеремонность в очереди к будкам междугородного телефона. Чем дышалось в будках, никто не знал. И все-таки Зуев вышел оттуда таким же сухим. Конечно, Иванов ничего не хотел спрашивать. Но в разное время Зуев чуть заметно подмигнул, едва заметно давнул на предплечье, с едва заметной радостью кашлянул в кулак. Иванов был готов плясать прямо под бронзовой мордой долгоруковского коня...

В тот день толчея на улицах не стихала, не стихала и тяжкая, удушливая жара. И вдруг пушечный удар грома раздался откуда-то из-за первого Гнездниковского. Это громовое предупреждение было великолепно проигнорировано разноликой толпой. Люди шли и шли куда-то, не замечая приближающейся грозы. Гости Москвы из жарких и дальних республик, какие-то толстые потные тети, негры, военные из всех стран Варшавского Договора, растерянные вчерашние десятиклассники, упитанные непроницаемые пассажиры такси, модные продавщицы, милиция, разномастные покупатели еды, бижутерии, лекарств, напитков, цветов, газет, театральных билетов. Запах пота и табака клубился в толпе вместе с радужным мельтешением всех цветов и оттенков. Иванов и Зуев не успели увидеть, чем заплатили все эти люди за собственную беспечность. Когда гром, стелясь по московским крышам, от отдельного рявканья перешел к сплошному рычанью и сверху начала отвесно падать вода, приятели заскочили в подъезд. В тот самый подъезд старинного дома в центре Москвы, где Иванов торчал когда-то чуть ли не ежедневно. И надо признаться, торчал не зря... Широкая лестница, украшенная старинным чугунным литьем, удобные каменные ступени с закругленными впадинами, выточенными за два, а может, три столетия миллионами башмаков, остатки классической лепки — все было давно изучено и проштудировано.

Иванов знал, что грохот столичной грозы не вызывает в людях ни романтической оробелости, ни почтительного восторга, ничего, что испытали бы они где-нибудь в полесской или мещерской деревне. Словно ходил по крышам длинновязый, не очень трезвый кровельщик, похожий на Гулливера. Он ходил и добродушно стукал своей киянкой по ржавеющему железу. Наверное, и шурину Иванова гром напоминал всего лишь громы аэропорта...

Зуев открыл входную дверь, обитую какой-то чуть ли еще не дореволюционной кожей, бросил фуражку на свободный олений рожок и скинул ботинки.

— Ты не возражаешь, если я и рубашку сниму? — спросил он и, вместо того чтобы окликнуть жену, запел песенку про Настасью. Разумеется, он заменил Настасью Натальей. Но рубашку все же не снял. Иванов подумал сейчас, что сам он никогда не допер бы до подобной вежливости. И впрямь было в Зуеве что-то московское, вечное, то, что не выцветает и не выветривается, — удивительное сочетание незаносчивой доброты, непритворного добродушия и какой-то веселой серьезности. Но чему Иванов больше всего завидовал, так это всегдашнему отсутствию позы, полному и постоянному соответствию выражения зуевского лица его душевному состоянию. Такие люди не умеют хитрить и всегда откровенны, за что хитрые и неумные называют их недотепами, «немного не того» и так далее. Но Иванов-то знал, как это нелегко: все понимать и быть альтруистом. Однажды он спросил соседскую девочку, что она чувствовала, когда, впервые придя в школу, полтора часа простояла на общешкольной линейке. Девочка вздохнула: в тот момент она больше всего боялась, что неправильно «держит рот». Она не знала, «как держать рот», а Иванову хотелось ей сказать, что не надо его держать, этот самый рот! Пусть он всегда будет такой, какой есть. Но ты сам-то разве не держишь рот? О, еще как «держишь»! И улыбаешься порой, когда улыбаться не хочется, и печально поджимаешь нижнюю губу, когда хочется хохотать...

Наталья, жена шурина, не отозвалась на песенку Зуева, ее просто не было дома. Иванов прошел на кухню. Кавардак там был жуткий, везде грязная, кажется, еще послесвадебная посуда, остатки еды взывали к человеческой совести. Кто-то гасил окурки, втыкая их в недоеденный торт. В кастрюле вместе с бигуди плавала побелев-

шая, вываренная сосиска, на полу валялся разбитый бокал. Иванов взял в холодильнике две бутылки боржоми, вымыл под краном два стакана и вернулся в гостиную. Зуев сидел в кресле нога на ногу. Он говорил по телефону, делая круговые движения правой ступней.

— Старикевич, я разве против? Но пока ее нет: С кем? С зятем. Знаешь, что значит зять? Нет, я-то ему шурин. Вы же знакомы... хорошо, мы постараемся приехать вместе с зятем.

По тому, как Зуев положил трубку, можно было понять, с кем он только что говорил.

У Иванова вырвалось:

— Ты уверен, что мне нечего делать?

— Но ведь сегодня суббота! И потом, я подумал, что... что сегодня-то ты можешь позволить себе...

Иванов понял, о чем он подумал, а Зуев увидел это и шевельнул плечом:

— Гляди сам. Но, по-моему... Вообще решай сам.

Речь шла о поездке к Медведеву. Напевая арию Герцога, Зуев ушел умываться. Боржом был холодным и резким, пузырьки облепили стенку стакана. Возбужденный Иванов решил немедля разобраться в своем состоянии, но тут раздался замочный щелчок. Иванову ничего не пришлось тратить из своих скудных запасов галантности. Наталья, жена Зуева, даже не поздоровавшись, бросила какую-то сумку, схватила другую:

— Мальчики, мальчики... А где мои ключи? Я сейчас. Продают финский шампунь.

— Где шампунь, какой шампунь? — притворяясь грозным, рычал посвежевший и бодрый Зуев. — Это парфюмерный киоск? Сейчас будет тебе и шампунь, и шампань!

Помнится, Зуев ткнулся подбородком в ее висок, завешенный крупной каштановой прядью, и подался за финским шампунем. Наталья ходила по квартире туда-сюда, задавала Иванову вопросы и, не дожидаясь ответа, спрашивала о другом:

— Ты что, встречаешь жену? А когда они приезжает? Терпеть не могу этих восточных халатов. Скользкие, как... Вы со Славой обедали? Ты знаешь, опять надо ехать. Ты тоже едешь к теще Медведева? Ты был у них на даче? Прелесть!

Прежде чем стать буфетчицей в аэропортовском ре-

сторане, она была тоненькой стюардессой. После первого замужества она слегка располнела и теперь всем говорила, что ей надоело быть ангелом-хранителем в небесах, уж лучше толстеть на твердой земле да поить людей коньяком и шампанским.

Иванов и без нее знал, что пассажирам Аэрофлота частенько ничего не остается делать, как пить шампанское. Знал и то, что Славка опять принесет одну, а то и две бутылки, но снова трусливо не захотел думать о том, чем это может закончиться. Ореховые крошки застревали в зубах. Иванов пошел в ванную, чтобы прополоскать рот, булькал водой, пока не услышал за спиной голос Натальи:

— Не помешаю? Так некогда, так некогда!

Она, видимо, стригла ногти. Иванов повернулся и на долю секунды замер, стараясь никуда не глядеть. Закинув халат, Наталья как раз поставила ногу на табурет. Под халатом... ничего больше и не было. Иванов поспешно ушел из ванны. Но глазная сетчатка успела-таки запечатлеть толстую Натальину ляжку, волосы и кожную складку в области паха.

— Что? Испугался? — услышал он сильный, простодушно-невинный смех.

Он в смятении уселся в кресло, жар тотчас отхлынул от его лица. «Черт знает что творится, — бормотал он про себя. — Черт знает...»

Иванов действительно тогда испугался. Но испугался совсем не того, что имела в виду она. Все-таки он был как-никак медиком и навидался всякой человеческой плоти. Его поразило сочетание невинности и бесстыдства. Наталья вошла в гостиную как ни в чем не бывало, даже не посмотрела в его сторону, продолжая логический ряд вопросов, заданных ею до этого. Она не смотрела на него вовсе не от стыда, это он хорошо чувствовал.

Впрочем, какая уж там невинность! Зуев в тот день дважды бросал телефонную трубку, не отвечая на мужские запросы. В третий раз он не выдержал:

— Я же скоро уеду! И ты можешь резвиться, как тебе вздумается. На любой лад. Все четыре рода войск к твоим услугам...

Но она была просто неподражаема:

— Миленький, ну что ты сердишься? Я же все равно твоя. В конце-то концов, что от меня — убудет?

К Зуеву снова вернулось чувство юмора:

— Не убудет, не убудет! — он похлопал ее пониже пояса. — А вот если прибудет... Тогда на подводный флот не надейся.

— Развод?

— Смотря кто в маневрах участвовал. Какая-нибудь там авиация или морская пехота — се! Крышка. А если подводный флот...

— Циник! — захохотала Наталья, обнимая Зуева.

Вскоре Слава уехал на Север. Его племянница, обещанная по телефону, нс появилась на свет. И при чем тут давно прошедшие дни?

Иванов шел по Арбату и не знал, кому теперь звонить и куда себя деть. Встреча с сестрой и обед в шашлычной только усугубили беспорядок в душе. Ощущение какой-то незавершенности и недостаточности и вместе какого-то неосознанного излишества не покидало его.

6

Дмитрий Медведев, как Пушкин, шутливо называл себя мещанином. В пору своей студенческой молодости, в те самые времена, когда московские отроки пели на вечеринках «Я встретил вас», вошло в обычай разбирать свои родословные. Миша Бриш — тогдашний студент Бауманского — первый обнаружил в себе одну тридцать вторую голубой крови. Не зря еще в школе к нему прилепилась репутация «идущего впереди». Другой приятель Медведева — Вячеслав Зуев учился в военном училище, и не в Москве, но имел, по слухам, одну шестнадцатую. Что оставалось делать Медведеву? Студент первого курса МФТИ в разгар зимней сессии начал изводить ватманские листы. Он вычерчивал родословное древо. Хотелось с помощью времени познать самого себя. Но философия при этом исчезала куда-то. Миша Бриш еще в школе дал Медведеву кличку: Предсказатель событий. «Если ты разгадываешь будущее, — говорил он Медведеву, — то с прошлым-то тебе просто нечего делать!» Ничего, кроме подспорья в изучении истории, не получилось из этих вычерчиваний. Зато история повернулась к Медведеву

иным, неожиданным для него боком. Выяснилось, что отцовская стихия ключом била из толщи дальних боярских родов, а материнская скромно струилась из ближайших недр черносошного тверского крестьянства. Медведев изучил даже геральдику своих предшественников, положивших начало многим созвездиям потомственных военных, купцов, священников и мещан. При этом родословное древо обнаружило странное свойство: оно росло как бы в обратную сторону, переворачивалось с ног на голову, крона преобразовывалась в систему корней.

Позже Медведев применил к этому переходу математический метод, постепенно запутался и потерял интерес к своей родословной. Только отец, умерший в тот год, когда Дима закончил МФТИ, вновь и вновь будил интерес к прошлому. Будучи ученым-географом, он внушал своему сыну необычные истины, которые забывались. Но они вдруг всплывали в сознании, вспыхивали многие годы спустя. Разглядывая астролябию петровских времен, стоявшую на особом столике в кабинете отца, Дима то и дело стукал себя по лбу: случайный взгляд на карту прояснял забытые отцовские намеки и недоговоренности. Отец утверждал, например, что Аляску мы продали американцам за конфеты, что в Калифорнии и до сих пор звонят русские колокола.

Жилище на Разгуляе давно утратило черты отцовских влияний. Понемногу, но очень активно обновлялись гардеробы, старая мебель исчезала после ремонтов. Пошли было в ход эстампы, торшеры и пластиковая химия. Потом началась эпоха самоваров и домотканых дорожек. Медведев великодушно взирал на все эти квартирные перетряски. Правда, он решительно пресек Любины поползновения на его комнату, не разрешил заполнять пространство книгами и безделушками. Не то чтобы он не любил читать, нет, он как раз и боялся книг из-за того, что слишком любил читать. Если книги торчат перед тобой утром и вечером, их надо читать, рассуждал он. Читать же все, что торчит, он не хотел, считал это худшим видом духовного рабства. По той же причине в свое время он резко забросил шахматы, называя их пожирателями драгоценных минут, паразитирующими отнюдь не на лучших человеческих свойствах.

И все-таки его комната, превращенная после смерти

матери в спальню, стала похожа на гостиную. Правда, кроме жены и дочки, он никого туда не пускал. Когда гость проявлял настойчивую назойливость, Медведев поднимал палец и говорил «чш!», начинал молоть какую-нибудь на ходу сочиненную чепуху о Пагуошском движении или об эффекте Допплера в отношениях мужчины и женщины. Он брал любопытного под руку и отводил в сторону.

Большая кухня служила Медведевым и столовой, и местом для детских игр. Верочка нагромождала там целые волшебные города. Она так не любила детский садик, что все неприятности, связанные с коллективным воспитанием, она перекладывала на кукол. Неприятное знакомство с зубоврачебным кабинетом она тоже безжалостно разделила с куклами.

Медведев скрипел зубами, когда сонную хныкавшую дочку поднимали с постели, чтобы увести из дому. Он считал, что дети в эпоху этой пресловутой НТР лишены детства: едва появившись на свет, они начинают взрослую жизнь. Пока жива была мать, Вера иногда по неделе сидела дома. Но мало ли что было, когда была жива дочкина бабушка!

Гостиную с креслами и одношерстным диваном жена и теща превратили чуть ли не в библиотеку, книжные стеллажи рождали ежедневную пыль, от которой увеличивались детские аденоиды. Рояль среди стеллажей звучал глуше и недовольнее, словно книжное удушье коснулось и его, самого устойчивого квартирного старожила. Да и играли на нем теперь нечто совсем иное. Впрочем, все это мало коснулось медведевского сознания. Его душа была широка, как широка и кореняста была вся его подвижная фигура. За внешним видом мужа Люба следила, пожалуй, больше, чем за своим. Она гордилась своим Дымом, как она тайно от всех называла мужа. Она сдержанно любовалась им, когда он по утрам уходил на троллейбус или когда шелестел на кухне газетами, фыркал, бормотал что-то и наконец кричал словно бы на вокзале:

— Люба, Люба! Урра! Урра, дорогая, проблема бессмертия решена! Ты слышишь? Один киевский профессор предлагает для эксперимента свою голову. Пусть, говорит, отрежут и заморозят. А лет этак через двести разморозят и пришьют какому-нибудь безголовому дураку! Нет, каково, а?

И он хохотал, смеялся тем удивительным детским смехом, громким и безоглядным, который она знала еще с девятого класса.

В шестом Люба ходила с Мишей Бришем на каток в парк имени Горького. В седьмом она сильно влюбилась в одноклассника Славу Зуева. А в девятом классе неожиданно объявился этот быстроходный Медведев. Она и до сего дня не понимает, отчего мама, Зинаида Витальевна, вроде бы и неглупая, а главное, своя, родная, не понимает, вернее, не чувствует, что такое Медведев. Он, ее Дым. Такой талантливый, такой непохожий на всех остальных! Если б еще не эти вспышки несдержанности... Они у него редкие, но страшные по своей силе. Мать даже не знает о них. Что бы она сказала, если б однажды увидела Медведева в гневе? Жутко даже подумать... Но хуже всего то, что Вера, это шестилетнее существо, прекрасно чувствует, как бабушка относится к папе. К ее, Верочкиному, папе, то есть к Медведеву. Вера, эта маленькая хозяйка семьи, взяла на себя непосильное обязательство: заставить бабушку любить папу. Обо всем этом думал иногда и сам Дмитрий Медведев, но думал мимоходом и всегда в третьем лице, что особенно его раздражало.

...Трубка телефона, с утра нагретая Любиным ухом, не остывала до позднего вечера. Звонили со всех концов города. Ленинград, куда Медведев уехал в командировку, вызывал дважды в сутки. Зинаида Витальевна то и дело набирала номера каких-то экзотических учреждений, которые в последнее время неудержимо плодились в Москве. Нынче, пользуясь тем, что зять находится в Ленинграде, Зинаида Витальевна распространяла свою экспансию и на этот город:

— Димочка, ты слышишь меня? Голубчик, позвони Эльзе Густавовне, пусть от моего имени свяжется с... Люба, Люба, как зовут подругу жены того профессора? Боже мой, почему ты забыла? Дима, Верочка вырывает у меня трубку. Ты будешь звонить завтра? Я узнаю имя подруги и сообщу. Что? Когда приезжаешь? Люба, он приезжает сегодня «Красной стрелой»!.. Нет, я просто не понимаю. Ты посмотри, на что похожа твоя шуба? Она вся облезла, не представляю, что ты будешь делать зимой. Верочка, сейчас же обуй тапочки и перестань хныкать! Что? Нет, это просто возмутительно! Никто нынче не ходит в таких шубах!

— Мама, у меня вполне нормальная шуба.

— Может, у тебя и мебель нормальная? Ты посмотри, какой гарнитур у Миши! Ах, я чуть не забыла, меня ждут в ателье... И вообще! Если б ты вышла за Славика, ты бы не ходила сейчас в облезлой шубе.

— Мама, сейчас же лето! — засмеялась Люба. — Никто вообще в шубах не ходит.

— Бабуска, бабуска, я с тобой! — запрыгала Верочка.

— Ни в коем случае, детка. Ты останешься с мамой. Как же он легок на помине! Люба, возьми, пожалуйста, трубку. Звонит Миша! Он говорит, что я тоже могу поехать во Францию.

Зинаида Витальевна, несмотря на некоторую тучность, была все еще элегантна. Сказывались уроки сценического поведения, взятые в свое время в одной из московских студий. После войны она неплохо играла чеховских героинь в профсоюзных клубах. Неосознанная неудовлетворенность судьбой прядями седины застряла в пышных каштановых волосах. На две горькие морщинки, отделяющие щеки от подбородка, уже не действовал ни энергичный массаж, ни женьшеневый крем. Люба с горьким чувством наблюдала приближение материнской старости.

Сразу после Бриша позвонила Наталья, жена Славика Зуева, которая оказалась совсем рядом, на Спартаковской улице. Зинаида Витальевна очутилась между двумя огнями: и Наталью хотелось увидеть, и в ателье надо было обязательно ко времени.

Перемогло ателье.

Люба пообещала завтра же, если приедет Медведев, всем семейством приехать на дачу и чмокнула в материнский висок:

— Ты не забудешь позвать настройщика? Если нужны деньги, то...

Зинаида Витальевна обиженно поджала губы и по-королевски вышла в открытую дочерью дверь.

— Ну хорошо, хорошо... — Любу разбирал смех. — Мама, ты бы не покупала торт, мы привезем...

Но Зинаида Витальевна уже спускалась по лестнице. Она до сих пор не признавала никаких лифтов. Верочка махала ей сразу двумя руками. Едва затихли бабушкины шаги, как щелкнул лифт и Верочке можно было продолжать махать: приехала тетя Наташа.

Джинсы облегали Наталью Зуеву слишком плотно, зато обширная белая блуза была просторна. Люба сразу заметила и новые босоножки. Наталья не зря водилась с продавщицами московских «Березок». Босоножки появились явно вчера или позавчера, ведь она заезжала после Любиного приезда из Франции совсем в других.

— Ты знаешь, Славка совсем захандрил.— Наталья мельком оглядела себя в зеркале.— Даже не пьет.

— Ты что, не рада этому? — удивилась Люба.

— Нет, просто немыслимо! Тихий ужас, я опять начинаю полнеть. У тебя далеко бордовая юбка?

Люба принесла юбку, и Наталья лихорадочно натянула ее поверх джинсов.

— Нет, вроде бы ничего, так же и было. Прямо в пот бросило...

— Хочешь, я ее тебе подарю?

— Что ты...

— Когда у тебя день рожденья?

— Терпеть не могу свои дни рождения! — Наталья снова через голову натянула юбку.— Нет, ты серьезно? Она мне очень идет. А что подарить тебе? Ты же любишь отмечать дни рождения. Ой, я чуть не забыла. Ведь это же... скоро! Да?

— Во-первых, не скоро, во-вторых, ничего не надо дарить.— Люба вдруг покраснела.— Дочка, что ты тут стоишь? Пойди и уложи спать куклу. Либо покорми ее чем-нибудь...

Вера не уходила. Она серьезно глядела то на маму, то на тетю Наташу, которая второй раз примеривала юбку. Вера ушла к своим куклам только после того, как мама сварила кофе, а тетя Наташа включила телевизор, когда обе они заговорили спокойно.

— Господи, нашла о чем думать,— Наталья достала из сумочки «Кент». Два длинных темно-вишневых ногтя вцепились в ободок фильтра и вытащили изящную сигаретку.— У тебя первый аборт, что ли?

— Ради бога, говори тише.

— И чего ты расстраиваешься? Я позвоню главврачу. У тебя же есть свободные дни.

— Господи, при чем тут дни? — ломая пальцы, проговорила Люба. Слезы копились в ее глазах.— Он уже три года ждет сына. Имя давно придумал...

— Он что, знает?

— Не знает, но догадывается. Не представляю, что будет, если узнает...

— Ты его просто избаловала. Плохо воспитываешь. Он у тебя домостроевец.

Наталья ушла, стреляя в Любу этими короткими фразами.

Бриш позвонил еще раз и сказал, что едет встречать Медведева. Сотрудник медведевской группы Грузь, тот самый, что всегда поздравлял со всякими праздниками, встречал мужа; Александр Николаевич Иванов, который минувшей весной вместе с Любой путешествовал по Франции, тоже звонил и спрашивал про медведевский поезд. «С чего бы это?» — подумалось Любе. Все едут встречать ее мужа, даже нарколог.

Ей стало приятно, что у Медведева так много всяких знакомых. Они с Верочкой благоразумно решили не ездить на Каланчевку.

Люба проветрила комнаты от Наташкиного сигаретного дыма, сменила на кухне скатерть и переодела девочку в чистое платьице.

Обе они — мама и дочка — волновались и радовались в ожидании Медведева. Радость у них была одинакова, а волнение разное. У Любы оно граничило с душевной тревогой, у Верочки — с интересом угадывания. Ведь папа сообщил по телефону, что купил ей что-то интересное, а что — он никак не хотел рассказывать.

Поезд словно подкрался к вокзалу, остановился внезапно и плавно. Медведев увидел в окно встречающих и поморщился. Но его недовольство тотчас исчезло. Он всегда легко соглашался с мелкой неприятной необходимостью, поскольку умел делать эту необходимость приятной. В каждом самом неприятном явлении, считал он, таится уйма хорошего, нужно только разглядеть...

Младший научный сотрудник Грузь, подтянутый и нарядный, стоял на перроне, глядел то туда, то сюда. Он поворачивался на пятке. Увидев выходящего из вагона Медведева, Грузь крикнул довольно зычно:

— Носильщик!

Человек пять носильщиков, грохоча своими нелепыми железяками, бросились на этот энергичный и одинокий зов. Грузь элегантно расшаркался перед ними и ши-

роким жестом представил им выходящего из вагона Медведева:

— Друзья! Он привез вам пламенный привет от ленинградских носильщиков. Честь имею...

— Миша, и ты здесь? — Медведев увидел, как долговязый Бриш пробирается между пустых тележек. — Привет, привет, но ты же испортил себе субботу!

— Человек для субботы или суббота для начальства? — Бриш подхватил тяжелый портфель Медведева.

В это время носильщики сжимали кольцо вокруг младшего научного сотрудника. Грузь попытался выпрыгнуть из окружения, но безрезультатно. «Мы тебе, задрыга, покажем привет!» — услышал Медведев и не успел вникнуть в значение нового для себя слова. Пришлось срочно вмешиваться:

— Ребята, в чем дело? Возьмите с него трояк и выпустите.

— Иди ты... со своим трояком! — огрызнулся один.

— Я ему покажу приветик! — повторял другой, а третий уже давил краем тележки ноги Грузя.

— Да ладно вам! — отступал Грузь. — Что, шуток не понимаете?

Трудно представить, чем бы все это завершилось, если бы не Бриш. Он шепнул что-то на ухо одному, другому погладил рукав. Третьего, самого активного, нейтрализовал неожиданным вопросом:

— Слушай, ты в баню ходишь?

— Хожу, — носильщик замешкался. — Ну и что?

— Скажи, а как ты задницу моешь, стоя или сидя?

— Стоя, — растерялся носильщик.

— Ну и зря! — убежденно сказал Бриш. — Вполне можно и сидя. Сперва одну половинку, потом другую. У каждой задницы две половины, одна левая, другая правая...

Пока Бриш нес эту диалектическую околесицу, Грузь не терял времени. Милиционеры были уже близко, пыл оскорбленных носильщиков остывал, и они растворились в толпе вместе со своими грохочущими тележками.

— Ну, Женя! — Медведев укоризненно покачал головой, разглядывая несимметричную челюсть Грузя.

— Та я щь... Дмитрий Андреевич! — В критические минуты Грузь начинал говорить по-украински. — Я щь,

это самое. Как лучше хотел. Думаю, багажа у вас полтонны, не меньше...

Медведев улыбнулся:

— Ладно, ладно. Вы знакомы! Миша, познакомься с этим отвратительным типом.

— Моя фамилия Грузь, — сказал виновник кратковременной суматохи. — Но, конечно, все называют то гусем, то груздем... Евгений.

— Бриш, — сказал Бриш, перекладывая портфель в левую руку. — Очень рад.

— Михаил Георгиевич, не так ли? — добавил Медведев.

Автоматы, проглотив пятаки, пропустили их к эскалатору. Бриш спустился на одну ступень ниже.

— Медведев, ты думаешь, я зря таскаю твой портфель? Нет, братец...

— Да? А что? Будешь просить в долг?

— Разговор, как говорится, не по телефону. Возьмешь ли меня в свою гениальную группу? У нас совсем нечего делать. Сидим как пешки.

— Надо подумать. Как, Женя? — Медведев оглянулся на Грузя.

Тот пожал хрупким плечом.

— В НИИ наверняка будут против, — сказал Медведев. — А ты не говорил с шефом? Ладно, закроем пока эту тему. Женя, как ведет себя наша «Аксютка»?

— По-дамски, — ответил Грузь.

— То есть?

— То есть не очень логично. Мне кажется, что исходные данные не мешало бы упростить.

Бриш рассмеялся:

— Ей как раз не хватает кибенематика.

— Закроем пока и эту тему! — тряхнул головой Медведев.

...Иванов проклинал сам не зная кого, краснел и чувствовал себя отвратительно. Он хотел встретить Медведева, а теперь вот едет вслед за всеми на одном эскалаторе. Опять получилось так, что он как бы шпионил! Ко всем чертям. Сейчас он догонит их и окликнет Медведева. Ему надо наконец поговорить с ним. И чихать на все остальное!

Он уже хотел было объявиться, догнать их на «Кировской», но его опять что-то остановило. Что? Этого он не знал.

Длинная фигура Бриша, который тащил портфель Медведева, долго не исчезала в толпе. Иванов, вместо того чтобы ехать домой, поднялся наверх и, почему-то злясь на себя, тихо побрел по Садовому.

Он вдруг понял, что ему жаль Дмитрия Андреевича Медведева. Лучше бы не было этой французской поездки! Понимает ли он, Иванов, и то, что в лице Медведева он жалеет себя, свою собственную полураспавшуюся семью? Нет, он этого не понимает. И понимать не желает. Потому что ему, Иванову, просто не повезло... Всего-навсего. Это было случайностью, то, что произошло с ним, с Ивановым. Тут не было закономерности, поэтому и не очень обидно. А с Медведевым? Закономерность? Может быть, Медведев тоже считает все это случайностью? Да нет, ничего Медведев не считает. Он не знает. А надо ли ему вообще знать?

От этой мысли уши Иванова опять налились жаром. Да, но что же делать?

На углу Цветного бульвара он неожиданно повернул влево, потом так же машинально открыл тяжелую, как у сейфа, дверь телефонной будки. Так же механически, неосознанно, набрал номер своего бывшего шурина Славки Зуева, два дня назад прилетевшего из Мурманска:

— Старик, поздравляю тебя с приездом. Ты помнишь ту пельменную? Ну, напротив Политехнического? Давно не виделись. Надо бы поболтать... Наталья дома?

Натальи, как и всегда, не было, и Зуев предложил пообедать вдвоем на ВДНХ: «Там есть добротная шашлычная «Над прудом». И лебеди плавают».

У Зуева имелся «Москвич», но Иванов сказал, что доберется своими силами и через час будет у главного входа ВДНХ.

7

На Трубной Иванов взял такси; заставил себя расслабиться. Машина через Колхозную площадь юркнула

на проспект Мира. Вот и тот самый обувной магазин, где Иванов купил однажды такие туфли, что Светлана ахнула от восторга. А вон и Рижский вокзал: здесь они едва не выменяли двухкомнатную квартиру. «Почему ей никогда не хотелось иметь детей? — вновь и вновь спрашивал Иванов сам себя. — Почему? Ведь до сих пор все в мире было наоборот: женщина считала себя несчастной, если у нее не было детей».

...Таксист выключил счетчик и спросил, знает ли пассажир, как и куда идти. Он принял Иванова за приезжего.

— Знаю, знаю! — пробурчал Иванов и, расплатившись, вылез на улицу.

Ничего он не знает, черт побери! Ничего... Знает только, что ничего не знает. Он не знает даже, который по счету был у нее тот, так и не предотвращенный Славкой, аборт. Да, шурин так и не стал дядюшкой.

Пока Зуев катил по Москве на своем возлюбленном «Москвиче», надо было запастись входными билетами. «Все-таки воспоминания лучше, чем диалоги с самим собой, — подумал Иванов, вставая в очередь. — По крайней мере, не раздваиваешься. А для чего ты позвал Зуева?» — «Ну как... Он друг семьи Медведевых». — «Нет, совсем не поэтому. Ты просто хочешь разделить с ним тяжесть ответственности. Пополам. И будет вас двое». — «Какой ответственности?» — «Ну, не ответственности. Назовем это иначе: груз информации. Груз. Грузь. Груздь. Гусь — улыбнусь. Сколько тут всяких рифм, хоть стихи сочиняй. Грузь, говорят, неплохой парень. Да, да, ты просто малодушно желаешь поделиться со Славкой собственным грузом. Ты не хочешь тащить один...» — «Нет! Я хочу помочь Медведеву». — «Он просил тебя?»

Так могло длиться часами. И что там ни говори, поток воспоминаний лучше такой кибернетики.

— Привет! — Зуев появился неожиданно. Они обнялись. — Ты похож сейчас на моего командира.

— В чем дело? — Иванов был рад улыбке Зуева, рад его одеколонному запаху и всему его беззаботному виду. В гражданском Зуев выглядел значительно старше.

— Мой командир тоже начинает лысеть. Не остроумно?

— Пока ты ныряешь в Атлантику, мы не сидим сложа руки. Лысеем. Разводимся.

Зуев сморщился. В семейной истории своей сестры и Александра Николаевича Иванова он долго держал вооруженный нейтралитет. Но события развивались довольно своеобразно: сестра заявила недавно, что ни о чем так не мечтает, как стать матерью-одиночкой. Интересно, знает ли об этом товарищ нарколог? Иванов спросил:

— Ну? Привез мне тельняшку? Или, на худой конец, рубаху разового использования?

Шашлычная, о которой только что так хорошо мечталось, куда-то исчезла. Пруд был, а шашлычной не было. Лебеди плавали в одиночестве.

— Мы не перепутали пруды? Иной раз моря перепутаешь, и то не так обидно, — грустно сказал Зуев.

— Ты что, всерьез?

— Что?

— Насчет морей.

— Быват! Как говорят чалдоны, все быват. Там же темно, ничего не видать! — весело болтал Зуев.

Шашлычную они все же нашли, хотя и другую, без лебедей. Самообслуживание повергло Зуева в меланхолию, но тут уж Иванов оказался в своей стихии. Он усадил приятеля за столик, состоящий из алюминиевого каркаса и пластиковой столешницы. Велел сидеть. Шашлыки оказались на настоящих шампурах, очередь шла достаточно быстро. Но когда Иванов оглянулся, то пришел в ужас: на столике уже стоял коньяк и какая-то минералка. Он принес шашлыки и сел с видом обреченного.

— А что? — ерничал Зуев. — Слушай, ведь я забыл, что тебе нельзя, что ты вроде попа, наставляешь народ на путь истинный.

— Наставишь тебя.

— Ну-ну, ладно. Скажи какой-нибудь афоризм. — Зуев разлил и поднял стакан. — С некоторых пор я возненавидел этот кавказский обычай: говорить тосты.

— Пожалуйста. Вот что сказал, например, Паскаль: «Есть пороки, которые держат нас во власти только с помощью других пороков. Если отнять ствол, они уничтожаются, как ветви».

— Алкоголь — это и есть ствол? — прищурившись, Зуев разглядывал коричневую жидкость на свет. — Паскаль прав, от спиртного рожа моя становится как головешка. Меня сразу бросает в жар.

— А ты сними свой шкурный пиджак.

— Почему он шкурный? — обиделся Зуев.

— Теленочек бродил где-то у озера Балатон. Травку щипал, — Иванов с отвращением отхлебнул коньяку. — А тут с него — р-раз! — и кожу содрали. Сделали тебе пиджачок.

— А чего ты его жрешь, этого теленка?

— Ошибаешься, шашлык свиной.

Так они болтали минут пятнадцать, пока бутылка наполовину не опустела. Иванов спросил, приглашен ли Зуев на день рождения Любы Медведевой. Зуев был оскорблен таким вопросом. Начиная с восьмого класса он ежегодно, если не считать двух автономных плаваний, отмечал этот день на даче Зинаиды Витальевны.

— А Бриш? — спросил Иванов.

— То же самое. А что? — Лицо Зуева как бы сияло.

— Так. Ничего. — Теперь Иванов сам добавил в стаканы.

— Ты жениться не думаешь? — спросил Зуев.

— Однажды я уже сделал это. Никакого желания повторяться у меня нет.

— Представь, сестрица говорит то же самое.

— То же, но с других позиций.

— С каких?

— Она боится, что потеряет свою драгоценную свободу. А я боюсь потерять свою несвободу. Есть разница?

— Что-то уж больно мудрено... — крякнул Зуев. — Мне мерещится, что вы вернетесь к исходным позициям.

— Это зависит от нее. Слушай, давай сменим пластинку. Я не о себе хотел толковать.

— О ком же? Если обо мне, то не стоит. Про свою благоверную я знаю все. Четко докладывают...

— Я хотел поговорить с тобой о Медведеве. Вернее, о Любе.

Иванов знал и раньше, что всякий раз при упоминании этого имени глаза Зуева зажигаются новогодним огнем. Но он не знал еще, что горят они так откровенно, так долго и так радостно.

— Бедный Медведев, — ехидно сказал Иванов, — имея в виду и себя, и Зуева.

— Почему это он бедный? — вскинулся Зуев.

— По той самой причине, что и ты! — жестоко сказал Иванов, чувствуя, что говорит не он сам, а какая-то иная, совсем посторонняя сила.

Зуев отрезвел, его веселая беззаботность исчезла. Он произнес тихо:

— Повтори, что ты сказал.

— Я хотел сказать, что женщины одинаковы. Жена Медведева никакое не исключение.

— А если я... — Зуев поперхнулся. — Если я ударю тебя?

— Очень оригинально. Что от этого изменится?

— Ладно, извини. Но я не верю... Этого не может быть. Это... ошибка...

И тут Иванов рассказал Зуеву о своей французской поездке.

Куда было деться от этих снов? Среди череды тягучих видений не так уж и редко, подобно бесшумным мурманским сполохам, высвечивались воистину яростные кошмары. Сотканные из реальных, совершенно ясных житейских деталей, смещенных и непоследовательных, такие кошмары изнуряли своими фантастическими, порою сюжетными действиями. И тогда Зуев, очнувшись, долго не мог освободиться от навязанного сном ужаса и какой-то тоскливой двойственности.

Однажды, когда у него имелось всего восемь минут свободного времени, он завел будильник, завел просто так, чтобы вовремя застегнуться, вовремя прополоскать сохнущий рот и явиться к месту раньше на полминуты. Зуев не ожидал, что заснет за эти восемь минут. Изнемогающее от усталости тело и бодрствующий зуевский дух дружно миновали границу яви и сна с ее узенькой нейтральной полоской. Зуев даже подумал во сне, как бы ему не заснуть.

Беленькая низкая комната офицерского общежития с тремя койками, столом и гардеробным шкафом, с репродукцией левитановской «Золотой осени» неожиданно вспыхнула от какого-то яркого света. Зуев с мучительным ощущением собственной медлительности бросился к двери. Как тяжело было бежать, как медленно сгибались колени! Словно в водолазном костюме на глубине пятишести метров... Он все же преодолел два лестничных пролета, выбежал на снег и ясно, будничнo увидел серую воду бухты и на ней темные челноки подводных судов, увидел дома и белые сопки. Но все это освещалось желтова-

то-синим, отнюдь не солнечным светом, и свет этот нарастал вместе с каким-то тонким звенящим звуком. Зуев бежал от дома к своему пирсу, на ходу застегивая куртку. Он ощутил даже холод от встречного ветра, слышал и стук рифленых стальных пластин. Лодка почему-то оказалась совсем небольшой, дизельной. Зуев хорошо помнит, как спускался по трапу, как открыл задраенный люк того отсека, где был перископ и где ждал Зуева командир. Но нигде никого не было. Только пульсировал слепящий свет, и горизонт оранжево вспыхивал, и звук нарастал, приближался, наращивая свою частоту. Потом этот звук исчез, но грохот обрушился на Зуева сверху и снизу. Нутро корабля горело беззвучно, а Зуев никак не мог сообразить, где же они, эти проклятые вентили и все эти противопожарные средства. Но вода хлынула в отсеки снаружи и смешалась с огнем. Какой же необычный и страшный был этот кипящий, теперь почему-то уже и бесшумный коктейль!

Он проснулся с сильнейшим сердцебиением. Будильник трещал на столе. Прошло всего шесть или семь минут. Сон был таким четким, таким ясно запоминающимся, что Зуев полностью, по всем этапам, восстановил его. И самое непонятное было то, что события сна никак не укладывались в те пять-шесть минут, которые прошли с момента засыпания и до звонка будильника.

В чем дело? В реальной жизни только на то, чтобы покинуть комнату и сбежать со второго этажа, нужно не менее двух минут; чтобы добежать до причала № 4, требуется еще ровно пять минут. А ведь он еще опускался по трапу, открывал задраенный люк, пытался тушить пожар...

Нет, Зуев никому не говорил про свои кошмары. Ни ежедневная зарядка, ни строгий флотский режим, ни психотропные средства не освобождали его от этих редких и таких страшных снов. Но ведь были же и другие сны... Такие, что после них день проходил подобно всемирному празднику. И Зуев не скрывал от себя, что почти все они, такие вот сны, связаны были с Любой. Его тревожило в этом деле только одно: вот уже дважды в его снах Люба Медведева объединялась в одно существо с женой Натальей... Это было не менее ужасно, и самое главное — стыдно. Зуев краснел, когда ненароком припоминал созданный сонной фантазией облик гибридной женщины, совмещавшей черты своей и чужой жены.

Да нет же, он отнюдь не в восторге от своей идиотской фантазии! Он даже пытался забыть восхитительно счастливое отрочество, свою первую и, пожалуй, единственную любовь к той девчонке, вернее, девушке, не очень любившей коричневый цвет школьной формы. Улыбка той девочки, кажется, и по сей день витает над парком, где теперь в летнее время гремят рельсы заморских аттракционов. Зимой там уже не катаются на коньках по заиндевелым аллеям. Он никогда не забудет двухчасовой урок физкультуры, проведенный всем классом в парке Горького. Тогда у Любы лопнул шнурок на левом ботинке. Она беспомощно возилась с этим ботинком, сидя в раздевалке. Помочь было некому. Миша Бриш физкультурных уроков не признавал, он ходил на каток по воскресеньям. Зуев связал Любин шнурок морским узлом, зашнуровал и затянул ей ботинок. И тут, выходя из раздевалки на лед, она не смогла устоять на ногах, заверещала, как первоклассница, и, уцепившись за его рукав, всей своей тяжестью потянула его вниз. Оба упали, загородив дорогу другим.

Что было дальше? Да ничего, только еще до этого он читал и хорошо запомнил сцену на катке из «Анны Карениной». Они вдвоем с Любой катались по самым дальним аллеям, катались вроде бы дольше всех. После, в метро, они разменяли на пятачки единственный гривенник, и женщина в кассе поглядела на них по-матерински понимающе, и тепло, и хитро.

Потом был и совсем иной сон — сон весенний. В школе еще шли занятия, но в парке уже цвела акация, ее сдобные кремовые соцветия источали такой волнующий запах, что Зуев однажды услышал его в глубине океана. Да так остро, так основательно, что проснулся и долго не мог вспомнить, где он. Лодка, слегка вздрагивая, с утробно-ноющим гудом влезала в плотные водяные пласты, горел над головой ночник. Во сне запах акации органично сплетался с едва уловимой вибрацией переборки. Нарастала вибрация, нарастал и запах акации. Зуев осмыслил эту взаимосвязь только за завтраком. За столом в тесной кают-компании он рассказал о своем сне замполиту и медику, но никто из офицеров не поверил тому, что запах может присниться...

Та весна пахла не только акацией. Запах все еще холодной воды долетал от Москвы-реки вместе с теплыми

вздохами ветра, когда они с Любой, качаясь в люльке, медленно, во много приемов, поднимались над парком, пока колесо обозрения не загрузили полностью. Кабинка, люлька, вагончик, зыбка, гондола, качалка — всяк называл по-своему это сооружение, которое на полминуты замирало на своей самой высокой точке. Весь парк был на виду и показался совсем маленьким. Москва-река снова дохнула на них зимним арбузным холодком. Шум великого города, растекавшегося в разные стороны неизвестно куда, завораживал их, усыпляя одни чувства и пробуждая другие. Люба ладошкой прикрыла зуевские глаза: «Слава, загадай что-нибудь!» Он не успел ничего ни загадать, ни подумать, колесо двинулось и пошло, вначале тихо, потом быстрее. Он взял ее ладошку и осторожно переложил с глаз на свои губы и затем долго не отдавал, она убрала руку только после целого оборота.

Колесо обозрения...

Оно медленно крутилось, но больше стояло на месте, когда Зуев катал Любу на лодке в парковых прудах, где крякали почти домашние утки и на берегу сидели старые женщины, думавшие не столько о будущем, сколько о прошлом. А девчонки, катаясь на лодках, еще сидели тогда не иначе как со сдвинутыми коленками. Хотя длина сарафанов уже стремительно сокращалась и белые танцы смело внедрялись в беззащитный и неустойчивый молодежный быт.

Какая жалость, у счастливого Зуева так и не произошло первого поцелуя. Подснежники, которые он по одному собирал для Любы, тогда, в следующем апреле, около дачи Зинаиды Витальевны, ничем почему-то не пахли. Но дело было не в этом, а в том, что они запоздали и были здесь не нужны. Уже в том апреле на этой даче царил дух Медведева. Зуев и Бриш служили лишь контрастной средой.

Лето промчалось вместе с ворчливыми и почему-то слишком частыми в тот год грозами, а осенью Зуев был уже далеко от Москвы. Он стал курсантом училища, но первые военные сны, как дым, исчезали вместе с командой «Подъем!». Они тогда просто не запоминались.

Выезд для зуевского «Москвича» загородила аспидно-черная «Волга». Шофер с нее оказался недалеко. Он ходил пить квас.

— Прошу извинить, товарищи,— весело произнес он.— Жаждущего и страждущего, как говорится в писании, не отринь. Ведь так?

— Давай отъезжай, черт бы тебя побрал! — заорал вдруг Зуев.

Иванов, садясь рядом, поглядел влево:

— Чего это ты?

Зуев повернул ключ зажигания и пробурчал:

— Терпеть не могу интеллектуалов. Да еще за рулем. Как ты думаешь, кто он по профессии?

— Можно спросить,— сказал Иванов.

— Обойдемся.— Зуев вывел машину метров на пять от стоянки и притормозил: — Куда?

— Я думаю, надо прямо в милицию,— улыбнулся Иванов.

— Туда-то мы успеем всегда.

— Прислонись у Савеловского.

Зуев забыл, как с проспекта Мира выезжать на Бутырки. Он решил двигать через Марьину рощу, а там запазгался сначала в тупик, а потом, развернувшись, газанул и рискнул проскочить под увесистым кирпичом.

— Ну, ты даешь! — не удержался Иванов от упрека, но тотчас пожалел, что не удержался. Свисток милиционера, без всяких сомнений, адресован был Зуеву.

Зуев остановился, заранее приоткрыл дверку и спокойно стал ждать. Милиционер не спешил, он пришел минуты через две-три, лениво козырнул и сиротским голосом потребовал документы.

— Шеф,— Зуев подал удостоверение,— вы можете меня выслушать?

Милиционер не ответил. Он внимательно разглядывал документ. Зуев заглушил мотор и повысил голос:

— Я пьян, шеф! Был на ВДНХ и пил коньяк. Если оставлю машину здесь до утра, вы вернете удостоверение?

— Зачем же садились за руль на ВДНХ, если пьяны?

— Был глуп и самонадеян.

Милиционер хмыкнул, поглядел на Зуева и вдруг без колебаний подал ему удостоверение:

— Хорошо. Только стоять здесь больше пяти минут нельзя.

— Мы загоним эту колымагу вон туда.

Зуев заехал в какой-то двор, щелкнул дверцей, по-

искал глазами номер дома и название улицы. Помахал уходящему милиционеру и остановил подвернувшееся такси.

На Савеловском Иванов вышел:

— Пока, братец. Встретимся на даче у Зинаиды Витальевны.

Но Зуев не желал ждать дня рождения, чтобы побывать на упомянутой даче.

— Жми! — напрягая скулы, сказал он таксисту. — В сторону Красной Пахры.

Машина долго вырывалась из душных московских объятий. Перед светофорами Зуеву представлялось, что он физически ощущает, как с каждым вдохом в кровь поступает окись тяжелых металлов. «Регенерированный кислород потребуется скоро не только подводникам, — подумалось ему. — Интересно, чем будут дышать лет через сорок?»

Но ему надоели реалистические предположения. Куда приятнее была фантазия снов. Причем снов прошедших либо давно прошедших. К тому снова и снова возвращались воспоминания отрочества. И в этих воспоминаниях, как это ни удивительно, словно кристалл в насыщенном растворе, все ясней обрисовывался образ, объединявший черты и свойства двух женщин.

Одна была жена Наталья, другая — Люба Медведева.

— Кстати, почему они так сдружились? — чуть ли не вслух произнес Зуев. Кажется, вопрос услышал даже таксист, как раз в этот момент он слегка покосился на Зуева.

Смятение и смелость после ивановского рассказа медленно таяли. Солнце быстро скатывалось за лес, когда такси свернуло с асфальтовой дороги на грунтовую. Зуев увидел, что дача совсем обросла черемухой, березами и малиной. До сих пор не скошенная трава вдоль заборчика была запудрена пылью.

— Вы очень торопитесь? — спросил Зуев таксиста. Тот пожал плечами. Счетчик показывал полугодовое матросское жалованье. Зуев рассчитался и попросил подождать: — Если меня не будет десять минут — уезжайте.

Шофер кивнул, развернулся и выключил двигатель.

«Первым делом Зинаида Витальевна спросит, какое у меня звание», — подумал Зуев и вспомнил место из Грибоедова насчет бросаемых в воздух чепчиков.

Калитка была открыта. Он прошел в дом, но во всех

четырех комнатах и на кухне не было ни души, хотя везде чувствовалась близость людей. Открытые окна, запах поджаренных кофейных зерен, включенное радио — все говорило о том, что хозяева дома.

Зуев услышал разговор на веранде и с изумлением, переходящим в злость, узнал голос Натальи:

— Что ты с ним носишься? Подумаешь, аборт! Покричит, покричит да и перестанет. У тебя вся жизнь впереди.

— Наташа, ты не знаешь его...

Второй голос принадлежал Любе Медведевой. Зуев узнал бы его где угодно и когда угодно. «Все то же самое,— подумал Зуев с тоской.— Опять про аборты, и снова моя жена».

Ему стало противно до тошноты. Может быть, сказывался выставочный коньяк? Так или иначе, он тихо покинул дом, тем же путем прошел до калитки. Кажется, с веранды его заметили, но он вышел на дорогу и разбудил дремавшего таксиста.

Машина фыркнула, словно тоже спросонья, с пришлепом пропылила мимо двух длинных дачных рядов.

Зуеву как-то сразу вдруг захотелось на Север. Он начал мысленно посчитывать, сколько осталось отпускных дней. Но как он ни считал — по числам и дням, — не мог преодолеть недельного срока. Оказалось, что считал-то он вовсе не дни своего отпуска. Он выяснял, когда будут именины Любы Медведевой.

8

Женя Грузь утверждал, что неоколониализм через десять лет явится в мир в наряде развитого социализма, предсказывал близость религиозных войн и упоминал о влиянии космических сил на деятельность медведевской группы. За подобные тезисы его уже вызывали на партком, где он благополучно от них отрекся. По этой причине он сравнивал себя с Галилеем.

— Дамочки! — Грузь поднял оба указательных пальца. — Тише...

За дверью, ловко подражая Шаляпину, в полный голос пел кандидат, вернее, почти доктор наук Дмитрий Медведев:

Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила...

Руководитель в разгар рабочего времени смаковал Мусоргского, а это означало появление какой-то пусть не гениальной, но всегда новой идеи, годящейся в приданое для «Асютки».

Начальные буквы длинного, тоскливо-бюрократического названия довольно сносно напоминали старинное женское имя. Грузь не замедлил с преобразованием, и вот родилась «Аксютка», которую уже много месяцев воспитывала в своем духе вся группа. Сам Медведев терпеть не мог сокращенных названий. Он говорил, что аббревиатура не напрасно рифмуется с халтурой, что ей всегда сопутствуют лень, бездарность, бестолковщина и обман, что сокращенные названия повсюду лишь прикрывают жалкую посредственность. По его мнению, полнокровными словами выражаются полнокровные и явления, а выхолощенный язык превосходно отражает дурные свойства самой жизни.

Добродушно-ехидный Грузь частенько развлекал группу тем, что нарочно для Медведева придумывал новые несуразные аббревиатуры. Он, подобно шефу, предсказывал последующие за этим события. Теперь система грузевских розыгрышей не шла дальше таких безобидных шуток, поскольку недавно Грузь угодил в институтский капустник за свой знаменитый эксперимент СДВО. Как было дело?

Однажды Грузь отпечатал на широкоформатной машинке шуточный опросный лист под названием СДВО («самое для вас отвратительное», последнее слово можно заменить словом «опасное»). Лист имел форму большой ведомости, где стояли №№ п/п, ФИО и раскладка СДВО, начиная с Солнечной системы и кончая собственным «я». Грузь действовал под флагом «института социологических исследований» и пустил свое детище гулять по всему институту. Сработала мода на всякие опросы. Лист имел такой успех, что на удочку клюнул даже Медведев. Степень СДВО делилась, по Грузю, на три категории: неприязнь, неуважение, ненависть. Вначале Медведев воспользовался только первой, потом дошло и до третьей. Оказалось, что в Солнечной системе медведевскую неприязнь больше всего вызывали искусственные

тела, а на Земле — парниковый эффект. Далее у Грузя шел большой раздел «Человечество». «Я ненавижу наемников, — сообщал Медведев в одной из граф. — Ничто так не развращает мужчину, как война за чуждые интересы». Самыми неприязненными профессиями для шефа были лесорубы, геологи и нефтяники. Самыми презираемыми людьми — женщины-лесбиянки, среди мужчин — педики. («За что вы их так, Дмитрий Андреевич? — деликатно спросил Грузь. — Извращенцев-то». — «За то, что у них не бывает потомства!» — расхохотался Медведев.) В духовном плане самым отвратительным для человечества Медведев назвал массовые психозы и массовые гипнозы, а среди организованных групп он, не задумываясь, назвал блатных. Девизом шефа был «Не торопись, тогда все успеешь», но здесь он поспешно назвал самым опасным для Европы — европейский парламент, для Москвы — неконтролируемый рост, для института — анонимность заказчиков. Для группы самым опасным, по мнению Медведева, была... лень.

— А что, Дмитрий Андреевич, — провоцировал хитрый Грузь, — лет через десять много будет нефтяников?

— С этим вопросом обратитесь в Госплан, уважаемый Евгений Мартынович.

— Нет, лучше в ЦРУ.

— Почему? — изумился Медведев.

— Потому, что у цэрэушников лучше компьютеры. Ихние системы предсказывают даже непланируемые события, а у нас плановая система. Они знают даже, что мы будем кушать через десять лет, что — через двадцать.

— Ну хорошо, — засмеялся Медведев, — а какая из организованных групп для тебя самая, самая...

— Масоны, — произнес Груздь шепотом.

— Где ты их видел? О них никто ничего не знает.

— Именно поэтому я и испытываю к ним отвращение, — сказал Грузь и свернул в трубку свою уникальную ведомость.

На этом и закончилось бы все это пресловутое СДВО, если б кто-то, может, сам Грузь, не подсунул опросный лист Академику. Академик, не мудрствуя лукаво, добросовестно ответил на все вопросы. В ответах, по выражению Грузя, царило «истинное средневековье». Это выражение весьма быстро было сообщено Академику. Медведеву пришлось идти выручать Грузя, причем в са-

мых высоких сферах. К счастью, дело закончилось всего лишь новогодним капустником.

Зовет король портного:
«Послушай, ты чурбан...»

Последнюю строчку Медведев не пел, а произносил. Интонации при этом прослушивались всегда очень определенно: он передразнивал одного из своих кураторов. Но Медведев тотчас забывал своего недоброжелателя, когда изумленный портной ставил в песенке свой извечный вопрос:

Блохе — кафтан?

...Институт размещался в старинной, когда-то загородной усадьбе, выстроенной в стиле русского барокко, но обезображенной внутри и снаружи поздними переделками. Потолок в коридоре второго этажа, соединяющего два крыла с вестибюлем главного корпуса, сохранил старинную лепку. Зато пол был выстлан квадратами розового и зеленого линолеума. Цветовое несоответствие и разностилица не смущали хозяйственников, они даже гордились этим многообразием.

И вот сегодня, к тому времени, когда королевская блоха получила все придворные привилегии, в коридоре появился один из замзавов. Он проводил инвентаризацию. Три или четыре озабоченные женщины с папками в руках сопровождали его.

— Так. Здесь что?

Он заглядывал в каждую дверь, и, пока добрался до медведевской группы, блохи тоже добрались до фрейлин и королевы. Проверяющий, вероятно, думал, что поет радио. Он оглядел большую комнату, где хозяйничал Груздь с лаборантом и другими младшими научными сотрудниками. Пока переписывали кульманы, стулья, столы, сейфы, счетные устройства и мусорницы, Медведев в своем кабинете почему-то молчал. Но когда комиссия двинулась к медведевскому закутку, за дверью снова раздался внушительный, почти штоколовский бас. Песенка про блоху завершилась горьким, саркастическим смехом.

— Вероятно, транзистор, — кротко сказал Груздь, а одна из сотрудниц пискнула от сдержанного смеха.

— Не институт, а какой-то оперный балет, — сказал замзав и, щурясь, оглядел всю медведевскую группу.

Потом замзав прочитал афишку, составленную из слов, выстриженных из газетных шапок. Афишка висела над рабочим местом Грузя:

> ВСЕ ПОПЫТКИ РАЗУМА ОКАНЧИВАЮТСЯ ТЕМ, ЧТО ОН СОЗНАЕТ, ЧТО ЕСТЬ БЕСКОНЕЧНОЕ ЧИСЛО ВЕЩЕЙ, ПРЕВЫШАЮЩИХ ЕГО ПОНИМАНИЕ. ЕСЛИ ОН НЕ ДОХОДИТ ДО ЭТОГО СОЗНАНИЯ, ТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ТОЛЬКО, ЧТО ОН СЛАБ. А ЕСЛИ ЕГО ПРЕВОСХОДЯТ ВЕЩИ ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ, ЧТО СКАЗАТЬ О СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ?

В афоризме великого француза замзаву что-то не очень понравилось, но вникать было некогда, и комиссия исчезла в медведевском кабинетике.

— Дамочки! Тише!.. — снова произнес Женя Грузь.

Лида, одна из сотрудниц, фыркнула и выскочила в коридорчик. За ней потянулись другие. Грузь тоже вышел.

Здесь табачный дым перемешан был с запахом импортных духов и туалетной хлорки. Грузь про себя с улыбкой вспомнил, как в детстве мечтал о женщине, которая вообще не ходит в уборную. Курили в группе все, кроме него и Медведева. Медведев при первой встрече, когда Грузь был студентом, спросил: «Женя, вы мужчина или младенец?» Грузь смутился. Тогда он ничего не сказал в ответ, кроме как: «Мужчина, вроде б». — «Хм! — причмокнул Медведев. — Если мужчина, то почему с соской?» «Все же сигарета и соска не одно и то же», — подумал тогда Женя Грузь, но Медведев прочитал его мысли и сказал: «Разница в одном: соска безвредна. В остальном все одинаковое».

С тех пор Грузь никогда не курил. Однажды одна из сотрудниц всерьез обиделась на него: «Вам не стыдно, Евгений Мартынович? Вы второй раз обозвали нас курицами». — «Это не имеет к сельскому хозяйству никакого отношения, — ответил он. — Курица — значит курящая женщина».

Послышался голос замзава. Комиссия, явно раздраженная, выходила из владений медведевской группы.

— Так. Здесь что? — замзав потянул за ручку туалетных дверей.

— Здесь? — скромно произнес Грузь. — Здесь у нас дискотека для ветеранов.

Девушки снова фыркнули.

Замзав записал что-то в блокнот, и вся инвентаризационная комиссия важно пошла по институтскому коридору.

— С праздничком вас! — Грузь помахал рукой.

...Все двери были открыты, Медведев слышал последний возглас и взглянул на перекидной календарь. На воскресенье красным шрифтом было набрано «День железнодорожника». Грузь не мог ошибиться, каждую пятницу поздравляя «с наступающим» знакомых и незнакомых. Но что это? На сегодняшней пятнице стояла давнишняя, еще зимняя запись: «Д. Р. Любы. Подарок».

Медведева бросило в пот. Он взглянул на часы и позвал:

— Евгений Мартынович? Зайдите сюда.

Обиженный официальным тоном, Грузь осторожно прикрыл за собой дверь, долго не хотел садиться на стул:

— Благодарю вас, Дмитрий Андреевич. Постою, вернее, мы постоим.

— Да ладно ты! — расхохотался Медведев. — Как у нас с графиком?

— С графиком нормально. А вот с золотыми контактами не очень.

— А, черт... — Медведев потянулся за телефонной трубкой, но Грузь остановил его:

— Кому будешь звонить? Министру среднего машиностроения или в приемную Гречко? Но разрешение на золото дает Госплан...

— А что наша заявка?

— Пока глухо.

— Женя, — Медведев откинулся, словно опять готовясь петь про блоху. — Немедля поезжай на завод. Займись промежуточным блоком. Может, обойдемся без золота? Ну а вечером к нам. На дачу. С праздником, как ты говоришь.

— День рождения?

— Да...

— У тещи или у дочки?

— У жены, бегемот! — Медведев весело, но пронзи-

тельно поглядел на своего сотрудника. Их отношения развивались вполне определенно: от взаимного симпатизирования к дружбе.— Послушай, Женя, а у тебя была любовь?

— Была, да сплыла,— ответил Грузь.

— Как так? Ну, расскажи, расскажи! Ты ведь знаешь, я не болтлив.

— Да так. Я пригласил ее в гости к приятелю. Там коктейли, музыка и все такое. У меня на брюках расстегнулась «молния», а я был в белых трусах...

— Ну и что? — Медведев думал теперь совсем о другом, но слушал.

— А то, что я заметил это слишком поздно. На этом все и кончилось.

— Зря! — серьезно сказал Медведев.— Может, она не заметила? Может, она и не разлюбила тебя...

— Зато я разлюбил себя,— сказал Грузь.— В том возрасте это было равносильно тому, что разлюбили тебя. Да и сейчас так же...

— Всё впереди. У тебя все изменится, Женя.

— В какую сторону, шеф? — спросил Грузь, уходя и не дожидаясь ответа, потому что телефон опять зазвонил. Медведев неохотно взял трубку.

— Старик, ты помнишь наш разговор? — послышался голос Бриша.

— Ты подозреваешь, что у меня склероз? — сказал Медведев.— Напрасно. Нет, с начальством я не встречался, предпочитаю как можно реже... Что?

Голос Бриша то и дело прерывался каким-то хрипом:

—...Как говорит мой друг...

— Кто, кто?

— Мой друг Аркадий. Тот самый, журналист номер один.

— Разве он еще не удрал на Запад? — шутливо спросил Медведев.

— Старичок, зачем ему удирать? Он ездит туда чуть ли не ежемесячно.

— Ясно. Так вот, Мишенька, если будешь работать у нас, заграничные поездки — долой. Хорошенько подумай.

— Я уже подумал.

— Тогда я сейчас же иду к шефу. Ты будешь у нас ве-

чером? Але-у... Вечером я доложу тебе о визите. Ну да, к моему шефу. Пока.

Медведев опять откинулся, набрал в легкие воздуха и, чтобы не запеть про блоху, шумно выдохнул. Потом по трехзначному внутреннему позвонил Академику. Академика на месте еще не было (он появлялся в институте ежедневно, но всегда в разное время).

Пришлось ждать.

Академик был давно равнодушен к науке, но, обращаясь с бумагами, проявлял поистине футбольный азарт. Глаза его загорались при виде не обделенных природой женщин, — об этом знали все работники института. Но слабость к антиквариату Академик даже от самого себя заслонял любовью к искусству, а об этом ведомо было, пожалуй, одному Медведеву. Академик сидел у него на крючке. Было приятно сознавать, что в любой момент шефа можно подсечь с помощью какого-нибудь медного православного складня или изображающей Будду нефритовой статуэтки. Религия и художественные достоинства имели мало значения, в расчет брались только возраст безделушки и благородство материала. Хобби? Но Медведеву почему-то представлялось, что и сама работа для Академика тоже не более чем хобби, что главным в его жизни было что-то иное, неизвестное, может, и самому Академику.

— Женя, ты еще здесь? — Медведев стремительно распахнул дверь. — Я еду с тобой. У шефа сейчас массаж, так? Так. А мы поглядим «Аксютку». Что? Нет машины. Вызываем такси. Девушки, а что сейчас самое модное? Ну, во всем. В одежде, в обуви. В косметике. Что? Есть машина? Очень хорошо! Едем!

Завод, на котором базировалась группа, отвел для «Аксютки» хорошо оборудованную пристройку. Установка покоилась на хорошем фундаменте за специальными ограждениями. Она была невелика по своим размерам, трансформатор, ее питающий, казался по сравнению с нею настоящим гигантом. Далеко не каждый, даже из самой группы, допускался в эту пристройку. Но сверхсекретность не помешала тому, что принципиальная схема устарела прежде, чем завершилось строительство опытного образца. Это обстоятельство больше всего и бесило руководителя группы.

К «Аксютке» надо было катить едва ли не через всю

Москву, и Грузь осторожно намекнул Медведеву о дефиците времени. Но шеф не захотел его слушать, считая, что купить подарок — минутное дело.

9

«Боже мой, уже тридцать! Какой ужас!»

Люба разглядывала свое лицо сначала анфас, потом в профиль и вполоборота с помощью второго зеркала. Нет, морщин под глазами и пониже ушей еще не было, но они вот-вот появятся, это она чувствовала. И подбородок уже слегка отвис. Господи, как быстро летят годы!

Она лихорадочно искала женьшеневый крем, то разглаживала под глазами, то подводила брови, а задней мыслью «прокручивала» в уме способ поведения и варианты одежды, тут же мелькала мысль о Медведеве: «И почему его нет до сих пор?» — проскальзывали перед глазами и лица гостей, но ей казалось, что голоса Натальи, матери и дочки, звучавшие по всей даче, не давали сосредоточиться и подумать как следует.

Днем лето в Пахре все еще вздыхало в полную силу, но под вечер сказывалась его усталость: уж не так ярко зеленела трава, и дальний, быть может, последний в этом году гром звучал глухо и не очень настойчиво, и уже мало кто отличал его от реактивного гула, который то и дело со всех концов света стремился к Москве. И все же здесь был совсем иной, не московский мир, иной воздух, каждую неделю меняющийся, иной свет с небес и вкус воды и еды. Но особенно странным казалось ей то, что здесь, на даче, и она сама, Люба Медведева, становилась почему-то иной, совсем как бы и непохожей на ту, городскую, московскую.

Дача была стара и вызывала у Любы стыд, когда были гости, а когда никого не было — жалость. Точь-в-точь такую же жалость вызывала у нее и мать, Зинаида Витальевна, когда, забыв про своих продавщиц, парикмахерш и массажисток, усталая, укладывалась на ночлег или когда учила девочку завязывать бантики. Зимой Зинаида Витальевна редко приезжала сюда. С тех пор как она овдовела, домработницы то ли перевелись, то ли стали дороги, и дача тоже начала потихоньку стареть.

Окна и двери большой комнаты выходили на веран-

ду с резными перилами. В летнюю пору с утра до вечера веранда освещалась, нагревалась солнышком, здесь же стоял журнальный столик и три старомодных, но очень удобных кресла. В большой комнате имелся круглый обеденный стол и пианино. С торца дома в двух небольших комнатках устроены были спальни, в другом конце размещалась кухня с кладовкой. Весь дачный участок, огороженный дряхлым забором, заросший с боков молодыми березами и черемухами, с лужайкой посередине, уходил от веранды слегка под уклон. И в детстве это больше всего нравилось Любе. Здесь, на этой уютной веранде, отмечались все дни ее рождения. Здесь бывали все одноклассники; все цветы и все торты проходили через эту веранду. Тут же, в кресле, прочитаны были самые волнующие страницы книжек. Мечты и волнения, рожденные когда-то модными клубами («Бригантинами» и «Алыми парусами»), тоже вспыхивали и потухали здесь, вместе с дроздиной возней по весне, вместе с бесшумными вспышками августовских зарниц перед началом занятий.

Всю жизнь, сколько себя помнит, она училась, лишь последние годы — годы замужества — были свободными и оттого казались какими-то праздничными, временными. Любе и до сих пор часто снились экзамены...

Зинаида Витальевна вздумала печь какие-то потрясающие, по японскому рецепту, бисквиты. Лимонов для этого не оказалось, и Наталья послала Зуева на машине в город.

— А что, Славик долго еще будет плавать? — спросила Люба, когда пропахшая никотином Наталья проходила с веранды. Платье на ней шелестело.

— Вот приедет с лимонами, ты и спроси. Уж тебе-то он скажет...— Наталья многозначительно рассмеялась, закашлявшись.

— Почему? Что значит мне?

— Ну, он же рассказывал, как весь класс, все до одного, были в тебя влюблены. Один Медведев внимания не обращал, правда?

— Глупости! — вспыхнула Люба.

— Ничего не глупости, — поддержала Наталью Зинаида Витальевна, но радио, включенное на кухне, глушило слова матери.

— Нет, глупости, — повторила Люба, думая не обо всем классе, а об одном Медведеве.

— Ну да, рассказывай,— Наталья опять хихикнула.— А этот... ваш Бриш. Он и сейчас на тебя поглядывает, глазки масленые. Они что, и в институте вместе?

— С Мишей? Нет, только в школе,— Люба задумалась.— И то с восьмого, кажется. Миша еще фамилию свою писал на женский лад.

— Как это?

— Ну, с мягким знаком! — Любе стало смешно и от забытой школьной детали, и от того, что Наталья ничего не понимает в орфографии.

— Вот, вот! Все они и бегали за тобой. И он, и Славик, и...

— Наташка, перестань говорить всякую чушь! — рассердилась Люба.

— Почему, Любочка, чушь? — опять послышалось с кухни вместе с сообщением о полете Севастьянова и Климука.

— А ты их всех, это самое! — не унималась Наталья.— Всем фигушки. А за тихоню за этого взяла и пошла, все и остались ни с чем.

— Боже мой, если б тихоня... — засмеялась Люба.

— Я его все время боюсь, — сказала Наталья.

— Почему?

— Как поглядит прямо, так и мороз по коже. Не представляю, как ты с ним... А вот Зуев подъехал.

С тех пор как с «Москвича» содрали в Марьиной роще зеркало, Наталья настояла на том, чтобы Зуев ездил в форме. Зинаида Витальевна всегда с восторгом разглядывала флотскую кремовую рубашку, значки и погоны. Но сейчас Зуев был снова в гражданском. Жена встретила его на крыльце, утащила на кухню сетку с лимонами и апельсинами. Через большую комнату он хотел вновь пройти на веранду, но увидел Любу. Она улыбнулась, разглядывая его через зеркало.

— Славик, какой ты красивый, — сказала она и не добавила слово «сегодня». Она чувствовала, что нельзя было без этого слова, но все равно почему-то не произнесла, не добавила этого слова.

Зуева словно ошпарило кипятком, сердце его забилось часто и неритмично. Он чуть побледнел и с трудом овладел собой.

— Ты путаешь меня с галстуком,— произнес он и помахал ей одними пальцами. Затем через кухню вышел

из дома, прошел к машине и сел за руль, чтобы снова вернуться к себе. Но и за рулем ему не удалось вернуться к себе. Его захватила радостная окрыленность, он не сопротивлялся ощущению счастливой какой-то бесплотности, он вернулся в то самое состояние, что испытывал тогда на катке, и в гондоле колеса, и в лодке в московском парке.

«Не зря даются первые школьные клички, — думая о другом, мысленно произнес он при виде подъехавшего такси. — Мишка вполне оправдывает звание «идущего впереди».

Бриш выгрузил из багажника большую коробку с каким-то подарком.

— Старик, о чем думаешь? — Коробка оказалась довольно тяжелой. — Не бойся, она не взрывается.

Через минуту Бриш уже целовал на кухне руку Зинаиды Витальевны:

— Вы сегодня прекрасно выглядите. А я всегда рад при виде семейных идиллий.

— Что ты говоришь, Миша! Я все глаза выплакала... Гляжу, как Люба с ним мучается, и думаю: господи, чем он заворожил ее? — Зинаида Витальевна придвинулась и заговорила шепотом: — Он же обманом женился! Без меня, пока я была на гастролях...

— Да что вы говорите! — тоже шепотом произнес Бриш.

— Честное слово, обманом. Никогда в жизни не ожидала. А вы знаете? Ее он тоже обманывает...

— Вы фантазируете. У вас прекрасный зять, Зинаида Витальевна. Талантливый физик...

— Господи, второй год не может защитить докторскую. Вера! Что ты там притихла? Иди сюда, детка.

Букет привезенных Зуевым розовых гладиолусов совсем потерял свою пышность, когда приехал нарколог Иванов. Тот не стал прятать в кустах свой подарок, принес прямиком на веранду. Ваза была едва ли не антикварной. Он со всеми перездоровался, увидел, что Медведева нет, испугался собственной фамильярности и растерялся. Не зная, что делать, Иванов воспользовался какой-то длинной тирадой Бриша и пошел вдоль забора. Ощущение чеховского «Вишневого сада» вытеснило его собственную неловкость. Везде было прибрано, но прибрано только внешне. Снаружи дача казалась основательной, но

изнутри... Так и просвечивало долголетнее запустение. Дощатый зеленый флигель выглядел издалека очень симпатичным, даже изящным строением. Вблизи же он представлял дряхлую развалину, куда кое-как складывалась всякая всячина. Еще не перегорели прошлогодний мусор и палый лист, сгребенные под забор. Тут и там настырно росла крапива.

За флигелем, где были сложены рамы давно разобранного парника, на старом дверном полотне светлоголовая дочка Медведевых вслух разговаривала с потрепанным мишкой и двумя куклами: «Ты будис мамой, ты будис папой, нет, ты тозе мама!»

Увидев Иванова, девочка смутилась и замолчала.

— Как тебя звать? — Иванов присел не корточки.

— Вела.

— Вера Медведева. А меня... нет, я пока не скажу. А почему у мишки сразу две мамы? Пусть лучше будет одна мама и одна бабушка. Согласна?

— Нет.

— Я, конечно, не настаиваю, — сказал Иванов. — Но, по-моему, две мамы — это хуже, чем одна.

— Нет, лутце! — убежденно сказал девочка.

Медведевский характер явственно обозначался в этом коротеньком «нет». Изгиб же между щекой и бровкой и особенно локон, упавший на ухо, обнаруживали удивительно точное сходство с матерью. Иванов смотрел на Любу в миниатюре... Что-то ему помешало спросить у девочки об отце, к тому же подошел Бриш:

— Веруська, а ты сегодня чистила зубы?

— Не-а.

— Я так и знал. Потому и принес жвачку. Грызи — и зубы сразу станут чистыми.

Зуев в это время сидел на веранде, разговаривал с Зинаидой Витальевной, пока она не удалилась для переодевания. Наталья все еще возилась с бисквитами. Надвигался вечер. Обеденный стол в большой комнате давно накрыли на десятерых, но Медведева не было.

— Мальчики, вам налить что-нибудь? Пока, чтоб не скучно было? — Довольная собой, вновь чувствуя свое безграничное обаяние, Люба Медведева улыбнулась всем сразу, но так, что каждому казалось, что улыбается она только ему. — Вино или лимонад?

— И пиво! — сказал Бриш. Его длинные ноги едва втиснулись между ножками журнального столика.

Люба принесла по бутылке и того, и другого, и третьего. Но понадобилось одно лишь пиво. Словно бы в благодарность Бриш коснулся рукой ее бедра. Зуев ясно заметил: Мишкина ладонь не надолго, всего на четверть секунды, задержалась в таком положении, потом с той же медлительностью скользнула вниз. Зуев испытал мучительное чувство ревности. От этого появилось раздражение, возникло недовольство самим собой, и, чтобы не сказать что-то слишком грубое, он потихоньку убрался с веранды. «Заметила ли она сама? — помимо своего желания подумал он. — И если заметила, то почему не сбросила Мишкину лапу? Впрочем, это вроде бы не твоя и забота». Сейчас он с удивлением сделал открытие: он смотрел на все это глазами Медведева...

Было девять часов вечера. Небо на западе покрывала легкая зеленоватая мгла. Крупные подмосковные комары, совсем не похожие на мурманских, то и дело покушались на Зуева. Он вышел на окраину дачного поселка. Поле, пахнущее не сеном, но сухой перестоявшейся травой, встретило стрекотом вечерних кузнечиков. Они смолкали, когда Зуев ступал близко. Из леса легонько тянуло теплом и грибной прелью. Зуев выдернул из земли стебель отцветающей валерьяны. Резкий запах целебного корня вернул обычное, слегка насмешливое отношение к самому себе. Но Зуев не знал, что это была валерьяна, он выдернул ее случайно. Не знал он и того, что птица, по-весеннему кряхтящая над Пахрой, была дергач, что далеко за лесом гремит не Москва и не самолет, возвращающийся из рейса, а подлинный, настоящий гром. Чтобы не заблудиться и не потерять Любину дачу, он оглянулся, сориентировался. Становилось темней и свежей. Далеко в поле, на краю перелеска, мелькнуло что-то белое. Зуев вгляделся, прищурился, но не смог определить, что это было. А когда он подошел ближе, лошадь вскинула голову и долго глядела на Зуева. Он волей-неволей вспомнил слышанные когда-то строчки:

...Над водою, где бакен желт,
Лошадь белая в поле темном
Вскинет голову и заржет.

«Кажется, автор стихов тоже служил на Севере, подумалось Зуеву. — И тоже на флоте».

Ему хотелось уловить отдаленную, ускользающую связь между видением белой лошади и зеленоватыми пластами океанской воды. Но сейчас ничего из этого не получалось. Он возвратился на дачу уже в темноте, когда огоньки фосфоресцирующих жучков замерцали кое-где в траве. Еще у калитки Зуев разобрал среди других голосов повышенный голос нарколога:

— Кто же с тобой спорит? Я согласен!

Голос Бриша звучал намного ровнее и тише.

Зуев, извиняясь, сел рядом с женой.

— Слава! Куда ты исчез? — Наталья дважды и очень смачно поцеловала Зуеву левое ухо.

Иванов крутил бокал с красным вином и грустно, но, как всем казалось, хитро улыбался чему-то. Женщины при зуевском появлении подняли переполох. Зинаида Витальевна чуть не со слезами начала потчевать уткой, Люба улыбалась ему, подавая коньяк, а Наталья твердила свое:

— Тихий ужас! Куда ты исчез?

В глазах Зуева стояло белое виденье ночных полей. Он поднял рюмку и посмотрел на Любу, но она уже сидела за пианино и не глядела в его сторону. Он не стал пить и, прислушиваясь к разговору Иванова и Бриша, старался угадать, что она сыграет. Он ждал, что зазвучат «Времена года» Чайковского, но она заиграла что-то совсем другое, тревожное, знакомое. Всего скорее, это был один из этюдов Шопена.

Теперь разговор на веранде шел о том, считать ли человека составной частью среды обитания. Бриш говорил:

— Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. Это еще Тургенев сказал.

— Сказал это не Тургенев, а всего лишь Базаров. Отнюдь не одно и то же. А во-вторых, кем ты хочешь видеть человека? Работником или мастером?

— Не вижу разницы.

— Большая разница, дорогой! — Это «дорогой» прозвучало в устах нарколога почти угрожающе. — Конечно, каждый мастер является и работником. Но далеко не каждый работник становится мастером, художником, то есть творцом!

— Я согласен, — натужно засмеялся Бриш. — Будем говорить не «работник», а «мастер».

— А согласен ли ты, что для настоящего мастера его мастерская и есть храм?

— Допустим.

— Тогда и базаровское противопоставление храма и мастерской рассыпается в прах! Новейшие нигилисты, конечно, изворотливее тургеневских. Только суть та же самая...

...Ночь быстро чернела над притихшей Пахрой, но никто на даче не заметил приближения дождя. Зуев сидел, обняв жаркие плечи Натальи. Казалось, шопеновские творения гроздьями нависали над миром, обрывались и падали, но не рассыпались в беспорядке и хаосе, не затухали, как зеленые светляки, а снова роились и подымались в летней, вернее, предосенней ночи. А на веранде не затихал, наоборот, разгорался никому не понятный спор.

— А ты помнишь анекдот о Наполеоне? — сказал Бриш.

— Да, но русские — это не французы, — возражал нарколог. — Юмор — понятие отнюдь не интернациональное. То, что смешно во Франции или в Китае, не обязательно должно быть смешным в России.

— Ну, это уж чушь собачья! — возмутился Михаил Бриш.

Зуев слушал Шопена. Не мигая, глядел он на Любу Медведеву, поэтому не расслышал, что ответил нарколог. Вдруг плечи Натальи вздрогнули, она рывком скинула руку мужа:

— Сейчас же едем домой!

Ему было непонятно, что случилось с Натальей. Раздувая побелевшие ноздри, жена пошла искать свои туфли. Люба прекратила игру. Иванов засобирался домой. Зуев тоже начал прощаться с Зинаидой Витальевной. Наталья курила. Казалось, один Бриш понимал, что с кем происходит. Он налил Наталье шампанского, выпил с ней и тоже решил ехать:

— Славик, для меня найдется место в машине? Я готов ехать на колесе.

— Какой разговор.

Раскрасневшаяся Люба, глотая слезы, наблюдала за сборами. Вдруг она топнула ногой, словно собираясь плясать:

— Я не хочу оставаться одна.

«Почему же одна? — подумал Иванов. — Здесь твоя дочь и мать».

По всем чаяниям, ему нужно было сказать что-то утешительное для Любы. Но он холодно сказал ей «до свидания», попрощался с Зинаидой Витальевной и залез в зуевскую машину. Наталья уже сидела на переднем сиденье. И тут Люба вдруг присоединилась к наркологу, после чего сложенный втрое Бриш захлопнул заднюю дверцу...

Зуев включил мотор, без разогрева вырулил на дорогу. Все уехали.

Зинаида Витальевна растерянно оглядела комнату, стол, беспорядочно заваленный едой и посудой. Пока она ходила смотреть, спит ли девочка, растерянность смешалась с жалостью к дочери, потом она ощутила горечь, а через минуту уже просто негодовала: «Какое он имел право? У Любы круглая дата... это хамство...»

...Медведев, расстроенный и совсем обескураженный собственным опозданием, приехал через пятнадцать минут после отъезда гостей:

— Зинаида Витальевна...

Она сидела на стуле заплаканная.

— Я виноват, Зинаида Витальевна! Я негодяй и болван. Только...

Она не стала его слушать. Не взглянув, пошла в свою комнату и, видимо, заперлась. Медведев хмыкнул и тяжело опустился в кресло.

10

Зуев успел посуху выехать на асфальт. Гроза начиналась тщедушная, какая-то вялая. Гром рокотал, но не очень охотно, молнии не сверкали, а вспыхивали, словно подмоченные. Люба не взяла даже плаща, но ей было не холодно между Ивановым и Бришем, хотя оба старательно прижимались к стенкам «Москвича».

— Куда мы едем?

— В Москву! — провозгласила Наталья, пробуя закурить.

— Правильно! — одобрил Бриш. — В столицу всего прогрессивного человечества. Если у Зуева хватит бензину...

Зуев включил дальний свет. Дождевые полосы, веером раздвигаясь по сторонам, поплыли навстречу. Шелест мокрых колес на всех действовал умиротворяюще, но только не на Наталью.

— Славик, но что ты ползешь как черепаха? — кричала она и хватала его за колено. — Ну, что это такое!

— Наташа, нам надо бы поменяться местами, — Бриш пытался образумить ее. — Ты мешаешь не только мужу, но и водителю.

Бес какого-то полудетского возбуждения через нее вселился и в Любу. Зуев тотчас это почуял и в мальчишеском безрассудстве начал «давить клопа». Бриш многозначительно крякнул. Зуев сбросил газ.

Иванов все еще размышлял о том, куда девался Медведев. Он думал об этом и в то время, когда слушал анекдот Бриша и когда сам рассказывал анекдот. Таким способом они отвлекали взбудораженную зуевскую жену, но анекдоты, как назло, быстро иссякли.

— Зуев! Обгони хоть этого! Ну умоляю! — кричала Наталья. — Нет, представляете? Миша Бриш ходил в Париже смотреть сексувки, а на Любу у него не хватило валюты! И тут она... Господи, Славка! Так мы до утра не приедем. Пожалуйста, ну покажи, на что ты способен!

— Тебе обязательно надо знать, на что я способен? — спросил Зуев, внимательно вглядываясь в налетающий дождевой веер.

Дождь быстро слабел. Грибная теплая августовская темнота упруго и неохотно отступала перед бегущей машиной.

— Ну, что ты за человек? — Наталья как сорока ерзала на сиденье. — Обгони хоть этого!

Он словно не слышал ее.

— Славка, ты трус!

— Да? — улыбнулся Зуев, не поворачиваясь к жене. — Может быть.

«Москвич», медленно набираясь пылу, вдруг задрожал мелкой, едва заметной дрожью. Моторным гулом заглушило шелест резины. В приоткрытое ветровое стекло вместе с влагой и ветром ударил аптечный запах шоссе. Машина летела теперь с ревом, и все, кроме Натальи, сразу замолкли. Зуев, сильнее сжимая челюсти, одним кратким движением руки обогнул красные огоньки какого-то грузовика, но два новых красных огня сразу же за-

маячили впереди. Он газанул, не выключая сигнал левого поворота, и обогнал и эту машину...

«Москвич» гремел, дрожал, и что-то в нем позванивало от напряжения. Но Зуев все еще ощущал запас мощности. Он довел обороты до предела, пытаясь обогнать очередную машину. И уже сравнялся с ней, и шел на полкорпуса впереди, как вдруг в упор мощно и неожиданно сверкнули встречные фары. Зуев еле успел сбросить скорость, пропустить настигнутого соседа и взять правее. Все замерли, одна Наталья по-щенячьи скулила рядом. Зуев опять настиг идущего впереди попутчика.

Тот явно дразнил Зуева. Оба шли с одинаковой скоростью, но, стоило Зуеву догнать и сравняться, «Волга» сразу уходила вперед на полкорпуса. Какие-то секунды машины неслись бок о бок, но при блеске встречной машины Зуеву снова и снова приходилось сбавлять скорость и уступать. Наталья ерзала на сиденье, вскидываясь то вправо, то влево, то назад. Она то охала, то скулила от обиды и нетерпения. И Зуев пошел на очередную попытку обгона.

— Останови машину, старик! — закричал Бриш. — Я выйду.

Но кричать было поздно. Зуев опять догнал и начал обходить ту же черную «Волгу», которую обгонял несколько раз, и так безуспешно. На этот раз встречных не было, и «Волга», к восторгу Натальи, осталась-таки в хвосте! Зуев закрепил успех, проехал километра два на предельной скорости. И вдруг, когда шоссе пошло слегка под уклон и Зуев чуть тормознул, зад «Москвича» начал гулять вправо и влево. Машина молниеносно избочилась, развернулась и, касаясь асфальта всего одним колесом, повисла в воздухе. В следующую долю секунды она доделала разворот и упала на встречную полосу, на все свои четыре резиновых лапы! И замерла, и виновато заглохла.

— Она... Она остановилась сама, Михаил Георгиевич, — сказал Зуев и вылез. — Видите?

Хотя в левом боку все еще докипал холодок смертельного страха, Зуева разбирал странный, незнакомый ему, наверное, мефистофельский смех.

«Волга», которую они только что обогнали, тоже остановилась. Двое в спортивных костюмах, шлепая кедами по мокрому асфальту, приблизились. Один из них обратился к Зуеву:

— Ну что? Доволен?

— Извини, шеф! — сказал Зуев. — Три — один в твою пользу.

— Нужна мне твоя польза! — хмыкнул парень и открыл сначала одну дверцу, потом другую. Но оттуда не вылезали, все трое были скованы страхом. — Надо откатить, — сказал парень. — Давай! Живо...

Но тут из машины выскочила Наталья и разрядилась перед водителем «Волги» порцией классической ругани.

— Да убери ты свою кочерыжку! — крикнул парень Зуеву.— И скорость надо бы выключить...

Наталья затихла, ошарашенная тем, что ее назвали кочерыжкой.

Зуев сел на сиденье и выключил скорость, парни откатили машину на противоположную бровку. Светила красноватая, казалось, насмешливая луна. Мотор «Москвича» завелся неожиданно быстро. «Волга» уехала. Зуев опробовал тормоза и сцепление, проверил коробку и рулевое. Все было вроде на месте, машина работала...

Иванов и Люба, не посвященные в автомобильные и дорожные тайны, быстро пришли в себя. Но Бриш-то ясно видел, что произошло на дороге!

— Старик, я не поеду, — сказал он. — Лучше уж я уйду пешком.

Наталья расхохоталась. Хмель еще гулял у нее в крови. Она вытряхивала из туфли песок, держась за карман Михаила Бриша:

— Мишенька, ну куда ты пойдешь? Миша, а где мы находимся? Ой, Миша, я так испугалась, так испугалась! Кажется, чуть не уписалась. А ты?

— Наталья, отстань, — сердился Бриш. — Что ты пристаешь к людям?

Зуев дал слово: он не поедет быстрее семидесяти кэмэ в час. Бриш после многих уговоров залез наконец в машину и приказал ехать к нему домой.

— Я угощу вас первоклассным шотландским виски! — шумел он. — В честь нашего приключения...

— А какой масти виски? — спросил нарколог. — Я согласен только на «Белую лошадь».

Иванов напряженно ждал, что скажет Бриш.

— Я не очень разбираюсь в лошадиных мастях, — сказал Бриш. — Увидишь на месте.

Через полчаса Зуев причалил там, где указал Бриш, но притихшая Люба попросила отвезти ее на Разгуляй. Никакие уговоры не помогли. «Я поеду с ней», — твердо заявила Наталья. Зуев пожал плечами и попрощался с мужчинами.

Иванов и Бриш вдвоем поднялись на третий этаж.

Шел двенадцатый час ночи.

— Это жуткая баба! — бормотал Бриш, отпирая дверь. — Когда-нибудь он свернет с ней шею.

— Ты имеешь в виду зуевскую?

— Конечно. Медведевская совсем из другой оперы...

— А в чем разница? — не унимался Иванов. — Еще неизвестно, кому повезло.

— Больше всех повезло мне! — сказал Бриш и распахнул дверь. — Здесь женщиной даже не пахнет.

Хозяин круговым жестом представил Иванову свою двухкомнатную квартиру. Обставленная импортным гарнитуром, она не походила на холостяцкую: гардины в цвет обоев были подобраны с излишней, то есть женской, тщательностью, посуда на кухне была перемыта.

— Старичок, так что будем пить? — говорил Бриш, думая о чем-то совсем другом. — Попробуем все-таки виски...

Иванов почувствовал волнение и, стараясь быть спокойнее, заговорил:

— Ты знаешь, я вообще-то не пью. И терпеть не могу пьющих, так сказать, по профилю своей деятельности. Но если есть лед...

— Мне, конечно, не удастся споить нарколога, но попробовать надо, — добродушно болтал Бриш. — Кстати, это даже лучше, что Зуев увез свою супружницу. Мы продолжим с тобой нашу дискуссию.

Иванов молчал. «Если он и впрямь принесет «Белую лошадь», значит, он выиграл пари. И тогда ты, Иванов, просто мерзавец. Да, тогда я просто негодяй и мерзавец...»

Бриш, держа в одной руке бутылку и два бокала, в другой — хрустальную чашку со щипцами и льдом, показался в дверях. Это была действительно «Белая лошадь»! Иванов так обрадовался, что едва не вскочил с кресла. Но сдержал себя, хмыкнул и спросил:

— Михаил, где ты берешь заграничное пойло? Привез из Парижа?

— А что? — Бриш явно насторожился. — Эту бутылку привез Аркашка.

— Из Парижа?

— Да нет. Недавно он мотался в Стокгольм.

У Иванова екнуло сердце. Заломило в надбровьях. «А нельзя ли прямо взять и спросить, кто проиграл пари? — мелькнула отчаянная и явно пьяная мысль. — Нет. Он ничего не скажет... Если бутылка привезена из Стокгольма, это не значит, что она не проиграна. Да, но в Москву гонят этих лошадок со всего света. Может быть, и проигранная?..»

Иванов положил в бокал кусок льда, и Бриш плеснул туда большую порцию виски. Лед начал медленно таять, разбавляя коричневый цвет в желто-соломенный, напоминающий другие, совсем другие анализы... Иванов отхлебнул и подержал во рту заморскую жидкость. Стоила ли она того, чтобы переводить на нее валюту? Ничем, кроме отсутствия сивушного запаха, не отличалась она от своих, доморощенных, жидкостей. Все было то же самое...

Бриш, поднятый телефонным звонком, отставил бокал.

Звонил Медведев. Они недомолвками и иносказаниями долго трепались сначала о шефах и академиках, потом о подчиненных и сотрудниках. Иванов ничего не понял. Ясно было одно: Бриш переходил работать в другой институт, в медведевскую группу.

— Извини, старичок, это Медведь. Он уже в своей берлоге на Разгуляе. Они не знают, что делать с Натальей, она совсем пьяная.

— А что Зуев?

— Зуев смотался.

Иванов посмотрел на часы. Прошло сорок минут новых суток.

— Далеко отсюда метро? Я, пожалуй, успею...

— Нет, не успеешь.

И они продолжили спор, затеянный на даче Зинаиды Витальевны.

11

В субботу Москва стихала, словно сбавляющая обороты турбина или как грандиозная медеплавильная печь

между двумя плавками. Такое затишье было похоже и на тонкий, напряженно-тревожный трансформаторный гул, не стихавший в большой заводской пристройке, сделанной нарочно для драгоценной и такой капризной «Аксютки». Однако же этот безбрежный город в каждом из его состояний можно сравнивать с чем угодно. Любая стихия, любой самый фантастический образ годился для этого. Нагромождения жилых массивов разбегались во все стороны, с косным самодовольством вновь и вновь возникали они перед человеческим взглядом. Беспредельность и необратимость, с которыми эти крохотные четырехугольники человеческих жилищ занимали новые и новые пространства живой, зеленой, пульсирующей земли, Медведев не хотел замечать. Он, как и все москвичи, делал вид, что не замечает всего этого.

Но сколько же можно притворяться и «делать вид»!

Иногда, очнувшись, он приходил в ужас от непостижимого, необъяснимого скопления рукотворных объемных масс. И восемь миллионов человеческих тел, сплотившихся так тесно в оно место, представлялись тогда одним сгустком человеческой плоти.

Но в субботу город стихал. Необычную легкость в ушах и во всем теле, рожденную тишиной, Медведев, подобно многим, объяснял другими, не физическими и даже не физиологическими, а психологическими причинами. Подумав же как следует, он вдруг соображал, отчего ему хочется петь. «Царей и царств земных отрада — возлюбленная тишина...» Ничего себе! Это в ломоносовские-то времена, когда не было ни самолетов, ни троллейбусов, когда музыка звучала только в своем чистом виде, без посредства проводов и динамиков.

Жена спала рядом, но на своей подушке и под своим одеялом, светлые, темные у корней волосы рассыпались, закрывая половину лица.

Медведев совсем очнулся. Она спала на спине, одеяло прикрывало ее до самого подбородка. Полусогнутое колено, откинутое и обнаженное, сначала развеселило, затем взбодрило и своей округлой полнотой и белизной едва не вывело его из интеллектуального состояния.

Медведев нащупал пятками тапочки и, стараясь не скрипеть паркетом, на цыпочках вышел из спальни.

Все было бы хорошо, если б не вчерашнее его опоздание. Академик дал-таки «добро» на переход Мишки Бри-

ша в их институт. Но какой ценой получено это «добро»? Медведеву пришлось выдержать труднейший разговор с тещей, а до этого двухчасовую беседу с Академиком на вольные, в основном медицинские, темы с уклоном в геронтологию. Физикой в этой беседе даже не пахло... Золотые контакты для «Аксютки» оставались по-прежнему голубою мечтой. Вчера Медведев и Женя Грузь провозились на установке до вечера, но Медведев не опоздал бы на дачу, если б не отменили одну самую нужную электричку. Институтскую машину они с Грузем отпустили. Пока на автобусе добирались с завода до Москвы, пока искал такси и ехал от Москвы до Пахры...

Впрочем, что за мода — отмечать эти дни рождения?

Ему было жаль жену. Серьезное отношение к возрасту само по себе лишь забавляло его, но Любу было жаль, поскольку она придавала этому такое большое значение. Другой неприятностью было то, что установка, опробование которой намечалось по графику ровно через четыре дня, не была готова к опробованию. Если бы...

Как и всегда: кабы не бы да не кабы, на шестке бы росли грибы. Если бы не опоздание, дочка бы не осталась на даче в одиночестве, без матери и отца. Не позвонить ли прямо сейчас? Нет, там наверняка еще спят.

Медведев, прощая тещу за вчерашнее, напевал «Блоху». Затем по-мальчишечьи заглянул в спальню. Ему почудилось, что Люба не спит, но это означало бы, что она сердита и не встает. По-мальчишечьи же отметая такое предположение, он убедил себя в том, что она спит, и сделал все, что было необходимо. Он даже заварил чай и изжарил ломти черного хлеба с колбасой и яичницей. Что ж, думал Медведев, установка пойдет. Должна пойти, ей ничего не останется, кроме как пойти. Черт с ними, с золотыми контактами, обойдемся и медными. Люба добра от природы, она простит ему вчерашнее. Дочка приедет с тещей к вечеру. Или они с Любой сами уедут к ним на дачу.

Зовет король портного...

Но он чувствовал, что была какая-то новая, еще не осознанная причина для нехороших раздумий. Что это?

Ну да, конечно. Была. Наталью, эту подлую бабенку, нельзя пускать в дом. Больше она здесь не появится. Зуев

совсем странный тип, он до сих пор терпит ее. Это уж точно...

Медведев с отвращением вспомнил, как вчера Наталья требовала вначале музыку, потом полезла к Медведеву с поцелуями. Сначала уехал, потом вернулся Зуев и еле увез ее. Это было уже глубокой ночью. А что же она болтала о Париже и о порнографическом кино?

Медведев ощутил мерзопакостный, мелкий и подлый укол ревности. Полное и давно устоявшееся доверие к жене быстро залечило боль этого укола, но след от него все же остался. И Медведев, подсмеиваясь над собой, все время, пока листал свежие газеты, чувствовал этот жалкий остаток. Не может быть, что Люба смотрела эту дрянь и не сказала ему... Не может этого быть...

— Люба, ты же не спишь! — Он шумно вернулся в спальню, присел на кровать к жене. — В чем дело? Ты не больна?

Холодный, отрешенный взгляд жены не изменил направления. Медведев увидел, как синий немигающий глаз медленно наполнялся влагой.

— Ну, это уже напрасно, — произнес он.

Она быстро поднялась с «брачного ложа». Он даже в такие минуты не переставал шутить, не зная, что в такие минуты шутки его казались ей обычным ерничаньем.

— Люба!

В этом его возгласе, почти крике, было многое. Она ясно слышала в этом крике его отчаяние, его любовь и гнев, детскую беспомощность и угрозу. Нет, она не могла долго сердиться, она ткнулась мокрым лицом в его плечо, всхлипнула. Он поцеловал ее в щеку:

— Через сорок пять лет мы закатим тебе такой юбилей. Знаешь? Шестьсот приборов в Доме ученых! Нет, в «Праге»! Какой это будет год? Две тысячи двадцатый?.. Ага. Убеленный сединами маститый профессор пишет: имею честь пригласить и тэ дэ. И ты вновь сыграешь нам Чайковского! Нет, пожалуй, лучше Шопена! Ты знаешь, у тебя совсем неплохо выходит этот, как его... фа-диез в миноре!

...Он носился по квартире в своем полосатом халате, кидая подушки, включал телевизор, пускал воду, успевал петь «Блоху» и растягивать эспандер. Медвежья фигура была иногда так ловка и стремительна, что Люба не успевала следить за его движениями.

— Ну? Как она называется, эта штука? — кричал он из ванной.

— Что? Фа-диез? Это ж пятый полонез: сорок четвертое сочинение. Дым, принеси мне, пожалуйста, гребень...

Ура! Она вновь говорит с ним, говорит, как и всегда, она простила ему вчерашнее, она снова прежняя. Пока она умывается, он смотрит по телевизору Севастьянова и Климука, летающих вокруг нашей прекрасной Земли, потом звонит на дачу, откуда безгранично родной голосок дочери окончательно ставит все на свои места! Все ли?

— Люба, тебя к телефону! И скажи матери, что ее зять без пяти минут лауреат! Он обещает съесть все, что осталось от вчерашнего. До последней корки!

С тех пор как зарубцевались сердечные раны, оставленные смертью близких людей, в медведевской жизни существовала одна-единственная причина разлада. Остальные легко самоустранялись либо не стоили никакого, по его мнению, внимания. Причина эта действовала вначале подспудно, тайно, но прошедшей весной он выявил и осознал ее. Оказалось, что ежедневно и едва ли не каждый час его дочь — это маленькое, самое дорогое для него существо — утрачивает черты и свойства младенчества, лишается то одного, то другого, что было так прекрасно и так дорого для него. Приобретения же не вызывали в нем никакого энтузиазма... Еще вчера она могла делать то, что ей хочется, сегодня половину своего дня она тратила на обязанности. А завтра не будет у нее и второй половины...

Медведев серьезно считал, что у современных детей рационалисты похитили детство. Нет, пожалуй, дело тут было еще сложнее: он испытывал скорбь за невозвратимость каждой минуты, прожитой его дочерью, а что говорить о днях и неделях? И никогда, никогда не увидит он ее не только такой, какой она была, но и такой, какая она сейчас, сию минуту. Ему хотелось остановить для нее неумолимый и вечный ток времени... Но разве только для дочери? Чувство невозвратимости без приглашения заявлялось к нему: первой ли седой волосинкой в височном локоне, о которой, кажется, еще не знала и сама Люба, с первой ли старческой суетливостью в движениях Зинаиды Витальевны.

Пока жена разговаривает с дочкой и матерью, Мед-

ведев глядит на ее полнеющую фигуру и снова теряет житейскую бодрость: «Порнографическое кино... Что значит кино?»

Они завтракают и пьют чай на кухне, и чем общительней становится Люба, тем больше мрачнеет он, Медведев, почти что доктор наук. Диссертация давно написана, и защищать ее будет не кто иной, как сама «Аксютка». По графику. Остальное пустая формальность, ничто не сможет остановить ход этих неумолимых событий.

— Люба, я бы хотел, чтобы она не появлялась больше на моем горизонте.

— Кто?

— Эта зуевская наложница.

— Наташа?

— «Наташа»... Я бы сказал тебе, что это за Наташа...

— Но почему, Дымчатый? — она искренне недоумевает.

— Как бы тебе сказать... Она заявила мне как-то: «После чужого свой лучше кажется». Она вся на таком уровне. Тебе бы понравилось, если б я... Ну, привел бы в дом какого-нибудь бандита. Каланчевского проходимца...

— Она что, бандит?

— Нет, — смеется Медведев, — для нее это тяжеловато. Наоборот, она слишком легкого поведения. Пойми, о чем говорю. Словом, было бы очень разумно прогнать ее в шею...

Но Люба прерывает его:

— Я же ничего не говорю о твоих знакомых! А почему ты...

— Стоп, стоп, стоп, дорогая! Так мы ни до чего не договоримся.

— А до чего ты хочешь договориться? Я уже не имею права выбирать даже подруг, у меня вообще нет знакомых, у меня нет даже своего мнения!

В голосе жены нет ожидания ответа... Медведев поражен ее внезапно вспыхнувшей агрессивностью.

Это было действительно что-то совершенно новое, никогда так бездумно не бросала она слова, никогда так резко не кидала волосы на плечо. Чувство, похожее на чувство безбилетного пассажира, все нарастало и нарастало, он с недоумением и болью глядел на жену.

— Что плохого она тебе сделала? — движение бровей и ее голос выражали мужскую решительность, делали ее

лицо некрасивым. Люба говорила и говорила, не глядя на него, не дожидаясь того, что скажет он, не желая вникать в его состояние и словно боясь, что остановится и не скажет всего.

— Да что с тобой? — спросил он, когда она наконец выдохлась.

— Со мной? Ничего! Это тебя надо спросить, что со мной, ведь это ты предсказываешь события...

Он понял теперь, что злоба, рожденная в ней чем-то посторонним, ему неизвестным, покоряла ее все больше. Подобно гриппозным вирусам, заражающим кровь, злоба эта захватывала в ее душе все новые пространства. Его «предсказывание событий» имело только добродушный интимно-домашний шуточный смысл, других смыслов тут не было. И эта ее крайность, ее злая беспомощность в стремлении сделать ему плохо раздавили его.

Да, это была уже подлинная беда, разочарование в ней, хотя он все еще и не верил в это. Разверзшаяся пропасть между его женой Любой и Любой другой, этой глупой, этой злой и жалкой женщиной, стремительно вырастала во всесветную катастрофу...

— А я повторяю: я выгоню эту б... за порог, если она хоть раз появится тут!

— Интересно, за что ты так ее ненавидишь? Эту женщину?

— Женщина, не желающая иметь детей, вовсе не женщина...

— Женщина прежде всего человек!

— А кто сказал, что она зверь? — Медведев чувствовал, что все хуже владеет собой, и оттого злился еще сильнее. — Именно потому, что она человек, она и обязана быть женщиной.

— Стирать пеленки и чистить картошку?

— А ты что? Предлагаешь не стирать?

Он вдруг замолчал. С прежней мальчишеской легкостью прошел в свою комнату, бросил свое массивное тело в отцовское кресло. Он сидел в позе Островского, запечатленного в памятнике неприкаянно сидящим около театральных подъездов. Любе хотелось бежать следом, забраться к Медведеву на колени, чтобы исчезла эта раздирающая душу тревога, чтобы все снова стало как прежде. Вместо этого она молча вымыла посуду и, разжигая чувство обиды, начала одеваться, схватила сумку, не показавшись Медведеву, хлопнула дверью.

Самые жуткие подозрения и предположения одно за другим возникали в медведевской голове. Ощущение внезапной беды не исчезало, а нарастало и прояснялось. Медведев погружался в отчаяние. И это она, его жена! Его Люба, мать Верчонка! Оказывается, она совсем не та! Совсем иная. Иная жена, иная Люба, то есть плохая. Чужая! Чужая, злая и вздорная баба... Но разве не такой же была она до сегодняшнего утра? Ясно: она была плохая всегда! Она притворялась хорошей. Верной женой и доброй матерью, притворялась, может, даже из страха перед ним или перед всеми другими. Порочность и заурядность... Неужели она такая же, каких большинство? Как яростно вступилась она за ту потаскушку, одно это говорит о ее порочности...

«Конечно,— размышлял он.— Это всегда было именно так, поездка за границу только проявила ее всегдашние, коренные свойства. Обычная, заурядная баба... Ты восемь лет носился с писаной торбой...»

Медведеву хотелось взреветь от горя или же оказаться в состоянии сна, наваждения. И хотя открывшаяся реальность была для него невыносима, надежды на пробуждение от этой реальности у него не было. Он вспомнил про дочь, и все стало еще более омерзительным, еще более грозным.

Щелчок дверного замка довел его до взрывного и совершенно неуправляемого состояния. Он сидел в кресле в прежней позе с побелевшим, но с виду спокойным лицом.

— Дима, ты знаешь, кого я сейчас встретила?

Она всего на полсекунды остановилась у входа в его комнату, близоруко прищурилась и тут же вошла. Ее улыбка, вернее усмешка, показалась ему открытой, он не заметил в этой улыбке крохотного оттеночка снисхождения. Он смотрел на нее, и ощущение непоправимости тихо рассеивалось. Он даже не вникал в ее веселую, такую отрадную для него болтовню о будущей учительнице их дочери. Она провела своей мягкой нежной ладонью по его жесткой колючей скуле и сказала, слегка заикаясь:

— П-позвони маме. Ты ведь не возражаешь, если мы поедем туда?

«Может, это и есть женская логика? То есть никакой такой логики... Жди все что угодно, — думал Медведев. — Словно ничего не произошло... А что же, собственно, произошло?»

— Ну, Дым, хватит. Я постараюсь, чтобы она не ездила к нам.

— Дело не в ней.

— А в ком?

— В тебе.

— Дима, чего ты хочешь?

— Только искренности.

— Я с тобой совершенно искренна.

— Это неправда. Ты не искренна. Я вижу.

— За что ты меня мучаешь?

— Извини, я не хочу тебя даже обидеть. Но я перестал верить тебе, черт возьми! Я вижу, что ты скрываешь от меня что-то. Разве не так? Ну, скажи, разве не так?

Он едва ли не в ярости тряхнул ее за плечи. Он глядел ей в глаза, но она отводила взгляд, стыдясь собственных слез.

— Люба! Ну, погляди на меня! Может, я не прав? Говори же! Прав я или нет?

— Не кричи на меня! — блеснула она глазами, но не слезными, а другим, совсем другим блеском. — Кто я тебе? Ты тоже не всегда говоришь все, но я ведь не лезу к тебе с кулаками.

Медведев сдавленно произнес:

— Тоже не все?.. Значит, ты... ты и впрямь не откровенна со мной.

— Чего ты ловишь меня на слове? — с еще большей злостью воскликнула Люба. — Да! Я не все тебе рассказываю! Ты доволен теперь?

Она хлопнула дверью и заперлась в ванной. Никогда еще он не видел ее такой, он даже не допускал, что она может такой быть. Но мысль о том, что она что-то скрывает, была еще мучительнее.

Люба появилась вся в слезах, и ему снова стало жалко ее:

— Прости, Люба! Я не в себе...

Она стояла, отвернувшись к окну и всхлипывая.

— Извини, — повторил он.

«Все-таки смотрела ли ты в Париже эту мерзость?» — вновь возник и по-змеиному шевельнулся этот вопрос. Но Медведев придушил этого гаденыша силой своей незаурядной воли. Он смотрел на нее, стараясь понять тайну женского поведения. И ему почему-то становилось досадно, что разговор завершился так просто и так баналь-

но. Еще он боялся сам себя, не хотел признаться, что все дело в этих гнусных фильмах. Сама мысль о том, что дело именно в этом, представлялась ему бесконечно низкой, отвратительной, оскорбляющей его и ее.

— Хорошо! — он вскочил с кресла, обнял ее, чмокнул в висок и по-всегдашнему замычал, подражая Шаляпину. — Едем в Пахру.

В ту же минуту позвонила Зинаида Витальевна. Она ледяным голосом попросила к телефону Любу. Оказалось, что они с Верой уже собрались в Москву автобусом. Следующий звонок был от Бриша, затем позвонил Грузь. Этот слезно просил разрешить поухаживать за «Аксюткой» в свои выходные дни.

— Нет. Не разрешаю, — сказал Медведев. — Ей хватит и пяти дней в неделю. Читай лучше газету. Ты ведь любишь «Литературку»? Причащает и исповедует. Организует службу знакомств, пропагандирует культурное питие. Уникальнейший орган, не правда ли?

Грузь поздравил с очередным праздником и положил трубку.

Жизнь как будто снова наладилась. Надолго ли? Медведев чувствовал, что его в чем-то обманывают.

Опять зазвонил телефон.

— Люба, возьми, пожалуйста, трубку! Это тебя!..

Он был убежден, что звонила Наталья. И не ошибся. Выходит, он и впрямь научился угадывать будущее... Хотя и самое ближайшее, но все-таки будущее. И сейчас, когда Люба, прибежавшая из кухни, болтала с Натальей, тягостная, может быть, непосильная тяжесть ближнего будущего ясно обозначилась для него. «Она просто мне неверна, — четко и отстраненно подумал Медведев. — Это было уже или будет — какая разница?»

Нереализованная возможность женской неверности была, по его мнению, равносильна самой неверности.

12

Атмосфера неискренности сгущалась с каждым прожитым днем. Однажды он приехал домой без предупреждения. Любы не было. Зато была теща, и в квартире полновластно распоряжалась Наталья.

— Он не хочет, чтобы Люба работала! — громко жаловалась теща Наталье.

— Ретроград! Извините, Зинаида Витальевна, я подслушал. — Медведев бросил плащ на сундук в прихожей. — Где Люба?

— Почему вы на меня кричите? Дима, я старая женщина...

— Ну, полноте, какая же вы старая? — Медведев сказал это вполне благожелательно и вполне искренне. Но ей показалось, что он издевается:

— Вы тоже доживете до моих лет!

— Зинаида Витальевна...

— Да, Дмитрий Андреевич.

— Где Люба?

— Вам лучше знать — где. Вы ей муж.

Наталья принесла с кухни тарелку с пирожками:

— Дима, она ушла показаться врачу. Ей рекомендуют лечь в больницу. Да ты не бойся! Это всего лишь аппендикс. В легкой форме...

Медведев с минуту соображал. Вдруг он начал белеть:

— Аппендикс? Но у нее уже был аппендикс! И тоже в легкой форме.

— Да? — глаза Натальи смеялись.

— Я вам покажу аппендикс! — Он вскочил и угрожающе подошел к Наталье. — Я прошу... прошу никогда больше не приходить сюда! Вам ясно, Наташа?

— Ты что, спятил! Прими валерьянки.

— Вон! — закричал он вне себя.

Наталья поспешно схватила плащ, сумку и выскочила за дверь.

Медведев зверем метался по всей квартире:

— А вы! Зинаида Витальевна, вы мать. Почему вы разрешаете своей дочери калечить здоровье?.. У вас одна дочь...

— Да, и я горжусь, что воспитала ее.

— Вы воспитали ее по своему образу и подобию! Вы хотите, чтобы и у нее тоже была всего одна дочь! Чтобы у Веры не было ни сестры, ни брата. А вы знаете? В Италии, например, аборт считается убийством!

— Мы живем в свободной стране!

— И вас, вас я тоже прошу: не вмешивайтесь в мою семейную жизнь!

— Может, мне тоже выйти?

— Не возражаю, черт побери!

Зинаида Витальевна начала одеваться... Медведев бегал туда и сюда, когда появилась Люба. Она слышала его последнюю фразу и, ничего не говоря, прошла в комнату.

— Где ты была? — пытаясь быть сдержанным, спросил он.

— Ты можешь кричать на меня... Я все вытерплю, но моя мама...

— Я ухожу, Люба... — суетилась в коридоре Зинаида Витальевна. — Живите одни, я никогда, никогда больше...

— Демагогия! Опять чистейшей воды демагогия! — заорал он в бешенстве. Схватил пиджак и выскочил на лестничную площадку. Его башмаки быстро пересчитали ступени всех пролетов, всех этажей старинного дома на Разгуляе.

Иванов несколько дней с увлечением ходил на службу. Правда, его сомнения в пользе того, что он делал, и вообще в пользе его профессии, то исчезали, то благополучно возвращались: сама наркологическая проблема была противоречива. То, что гноилось вокруг нее, принимало комическое и трагическое обличье одновременно. Иванов служил в том заведении, которое было задумано как методологический центр, координирующий деятельность наркологов в одном из районов Москвы. Но эта затея в первые же недели вырядилась в обычные бюрократические одежды. Коллеги в белых халатах писали отчеты, сводки и диссертации, дважды в месяц получали в кассе зарплату и ходили по коридорам целыми стаями. Им казалось, что они делают нечто важное.

Конечно, это были разные люди. Одни могли целыми днями расшифровывать энцефалограммы и даже дома раздумывать над «коррелятивной зависимостью физиологических и психических процессов на фоне социально-бытовой деградации личности». Терминология завораживала, они самозабвенно слушали сами себя. Другие, и таких было меньше, произносили эти термины если не с явной издевкой, то уж во всяком случае без подобающего почтения. Иванов относился к таким с большей симпатией. Однажды он случайно оказался на осмотре очередного пьяницы в кабинете одного из коллег.

— Ну, так что, все пьешь? — спросил коллега, даже не

глядя на пациента, у которого тряслись не только руки, но и голова.

— Пью, — в ответе звучала радость общения.

— И хочешь бросить?

— Помогите, доктор! Сделаю, что скажете.

— Хорошо. Я скажу, что надо сделать. Прежде всего надо стать трезвым.

— То есть?

— То есть не пить.

— И все?

— И все.

— Спасибо, доктор. А то, думал, колоть начнете.

Это смахивало на анекдот. Довольный и ободренный алкоголик ушел, разобравшись наконец, где гардероб, а где дверь. Иванов едва не расхохотался и спросил:

— Вы что, со всеми так?

— Они одинаковы, — сказал коллега. — Следовательно, я тоже.

Иванов ничего не стал ему доказывать, он лишь заметил, что смысл врачебного мастерства как раз и состоит в том, чтобы выявить индивидуальные особенности больного, как врожденные, так и благоприобретенные.

— Нет, они все становятся одинаковыми, — услышал в ответ Иванов. — А что мы с вами можем? На них же товарооборот держится. И ни одна зарубежная шавка об этом даже не тявкнет.

— Значит, нравится, — согласился Иванов. — Зато все «голоса» прямо воют о правах человека...

Увы, товарооборот держался не только на алкоголиках. Коллеги Иванова, нередко даже и в служебное время, как могли пособляли своим клиентам. Поводов было в достатке. Иванов до сих пор не всегда отказывался от этих гнусных попоек, он оправдывал себя тем, что во имя пользы дела следит за «динамикой адаптации». Он сознавал сильнейший риск — риск привыкания, но снова и снова откладывал тот день, когда выпьет последнюю в своей жизни рюмку. После дня рождения Любы Медведевой таких «последних» дней он насчитал уже несколько.

«Организм понемногу привыкает к интоксикации... — думал спящий Иванов. — За счет чего? И почему эта интоксикация вначале приятна?» Желание проснуться и записать нечто потрясающе важное, открытое только что, — это желание было переборото сном.

В два часа ночи звон телефона легко разорвал без того непрочную завесу этого сна, отдалившую было осточертевшую реальность куда-то в другое место. Впрочем, то, что снилось, было, как и у Славки, тоже не лучше: какая-то дрянь, в духе Сальватора Дали. «Такого сна и жалеть нечего», — мелькнуло в мозгу, но мелькнуло намного позже. Иванов чертыхнулся и взял телефонную трубку.

— Ты можешь ко мне приехать? — голосом Зуева безотказно вещала техника. — Сейчас, сразу же?

— Конечно. А что случилось? — Иванов перекинул трубку к другому, как ему показалось, более трезвому уху.

— Возьми мотор и шпарь. — Зуев говорил излишне спокойно. — Очень тебя прошу. Я бы приехал сам, но мой драндулет не заправлен...

Иванов положил трубку, поскольку она, словно голодная кошка, запищала на всю его однокомнатную квартиру. Нет, капитан-лейтенант Зуев был трезв. И хотя точность кварцевого хронометра уживалась в нем с горячностью застоявшегося ахалтекинца, он бы не стал напрасно звонить в третьем часу. Его очень уж что-то допекло...

Какая отвратительная пустота в желудке... Нет, со всеми экспериментами покончено. Больше он не проглотит ни грамма этой мерзости. Ни грамма.

Он засек еще одну деталь — движения плохо координировались. И это навязчивое звучание бездарной мелодии. Он просто не в силах отделаться от этой песенки, вернее речитатива:

Я, ты, он, она—
Вместе целая страна!

Сосущая тошнота не исчезала ни после умывания, ни на улице. Воздух все еще был несвежим, хотя полоса, пахнущая арбузом, эта озонная воздушная волна, уже катилась со стороны Лосиного острова.

Иванов почувствовал облегчение, когда шагнул в эту полосу. Его решение, принятое только что, еще более укрепилось: «Никогда, никогда ни одного глотка! Тут совершенно все ясно. Без экспериментов...»

Как печальны свибловские дома в третьем часу ночи! А веселее ли в эту пору похожий на пчелиные соты Теплый Стан или какой-нибудь бесконечный бульвар с хоро-

шим названием — Сиреневый? Даже вокзалы, эти лимфатические узлы города, одиноки и задумчивы в такую тихую пору.

Севастьянов и Климук
На орбите садют лук.
Да и в нашенском НИИ
Перешли на трудодни.

Этот стихотворный шедевр остался на память от ночной болтовни во вчерашней компании. Спирт, разбавленный клюквенным морсом, нейтрализовывался в крови так медленно, что первый таксист с подозрением посмотрел на Иванова. И укатил, ничего не сказав. Второй оказался сговорчивее. «Не купить ли у Славки машину? — подумал Иванов. — Отдаст подешевле. У него три дня до отъезда». Иванов устыдился собственной меркантильности.

Я, ты, он, она—
Вместе целая страна!

Самое занятное — это ни с того ни с сего «Над тобою солнце светит!». Он попытался вытравить навязчивое звучание космическим луком. Но бездарная нелепая песенка звучала даже сквозь недоуменные и тревожные размышления. В чем дело? Почему Зуев позвонил так поздно? Что случилось?

Щедрый после похмелья, Иванов не стал дожидаться таксистской сдачи. Лифт действовал безотказно, только уж слишком шумно. Даже не нужно было звонить в двери — Зуев шел открывать. Он был в спортивном костюме и выглядел вполне нормально. Он заметил блеснувшую в глазах Иванова злость и хлопнул его по спине:

— Не злись, старина! Сейчас я покажу тебе кое-что...

В квартире гремел вальс к пушкинской повести «Метель». В комнате, где был проигрыватель, стоял стол с бутылками, а на диване босиком, вернее в одних носках, по-турецки сидел пьяный Медведев. Галстук болтался на его мощной шее, как веревка на колхозном быке.

Иванов не верил своим глазам. Горечь и странная неосознанная обида захлестнули его. Медведев, который всегда с таким сарказмом, с такой чуть ли не ненавистью относился к выпивкам, был пьян, и поэтому Иванов не верил своим глазам.

— Зуев, когда ты вырубишь эту сентиментальщину? — Медведев обернулся к Иванову: — А, старичок, это я поднял тебя с постели! Извини, но ты должен выпить на брудершафт с капитан-лейтенантом Зуевым! Зуев, где ты? Он снова жарит яичницу. У него ничего не нашлось, кроме омлета, «Каберне» и Свиридова. А я требую кровавый бифштекс, Вагнера и «Сибирскую»! С русской тройкой! На худой конец одну «Белую лошадь»...

Иванов молчал. Откуда знает Медведев про «Белую лошадь»?

— А ты поезжай к Мишке,— сказал, вернувшись с бутылкой рислинга, Зуев.— Только один он может прокатить на этой лошадке.

— Бриш? Знаешь...— но Медведев недоговорил и всем корпусом повернулся в сторону Иванова.— Александр Николаевич! Саша... Вы, конечно, удивлены. Зуев, нальешь ли ты нам? Этого самого «Каберне». Мы выпьем с Ивановым! На брудершафт, и не менее...

— Слушай, Димка, не пора ли тебе швартоваться? — Зуев налил в бокалы и обернулся к Иванову: — Он третью ночь не ночует дома.

Иванов продолжал молча глядеть в одну точку. Он был готов к любой неприятной новости, но только не к этой. Медведев в таком виде не вмещался в его сознании. Казалось, что рвались самые крепкие связи, трещали самые надежные опоры всего окружающего. Иванов оглядел комнату: было ясно, что Наталья, жена Зуева, тоже дома не ночевала.

— Где же он ночует? — спросил наконец Иванов, беря стакан.

— Черт их разберет! — Зуев выругался.— Жена плачет, звонит через каждые два часа. Дочь не спит. Просят связаться с милицией. На работе его нет, на даче тоже.

— Как так? — встряхнулся и помрачнел Медведев.— Разве она не знает, что я у тебя?

— Здрасте! — Зуев отхлебнул из бокала.— А кто, по-вашему, приказал: «Ни одна живая душа не должна знать, где я». Я, конечно, намекнул Зинаиде Витальевне...

— Браво, Зуев! Теперь мы дернем с Ивановым «Каберне»! Что? Рислинг? Что такое рислинг? О, твои соседи снова стучат. Зуев, а какие стенки у твоей субмарины? Там-то у тебя никто не стучит?

— Еще как стучат.

Медведев захохотал:

— А ты? Ну и что тогда ты?

— А я сплю. Продолжаю спать хоть бы что.

...Иванов резко опрокинул в рот то, что налил ему Зуев. В стакане оказался коньяк. Иванов отломил квадратик от размякшей шоколадной плитки. Было уже утро. За окнами давно растаяла августовская московская мгла.

Иванов, теряя ощущение реальности, с пятого на десятое слушал разговор, все еще не желая или не умея пристроиться к их продолжающемуся диалогу. «Они говорили, наверное, всю ночь, у них традиции. А что он? Он помолчит. Кто бы мог ожидать? Медведев... Умница. Тот самый, что предсказывает события...» И вдруг Иванову захотелось узнать, вернее, проверить, точно ли он их предсказывает:

— Дмитрий Андреевич, как вы думаете...

— Зуев? Налить! Он со мною на «вы».

— Как вы думаете, — продолжал Иванов, — что с вами будет, если вы будете пить? Что будет с вашей женой?

Медведев вскочил:

— Старик, у меня... — Он заходил по комнате. — У меня, кажется, нет больше жены... Во всяком случае, той жены, какая была. Жена была, но всего лишь в моем воображении. А почему ты сам не женишься?

Иванов ответил не сразу:

— Каждой дурочке хочется Великой Любви. Каждая только и мечтает не меньше как об испепеляющей страсти. А я заурядный лекарь! На африканского мавра никак не тяну.

— Я тоже! — засмеялся Медведев. — Капитан-лейтенант Зуев, а вы?

— Я не согласен с вами... — сказал Зуев. — Конечно, куда ни сунься — везде одна сплошная любовь. Вернее, говорильня. В кино, в книгах... Все толкуют о любви, даже пенсионеры. По радио только и слышно: любовь, любовь... Действительно, кто только не мечтает, кто не болтает об этой самой любви? Да ты не мечтай, черт побери, а люби! Не обязательно по Шекспиру...

— Верно, Зуев, все верно, — Медведев трезвел.

— А что остается, как не мечтать? Если он или она ни на что более не способны? Если у него или у нее духовная импотенция? Ничего не может, шабаш! Только говорить и мечтать. Но все равно я не согласен с вами...

Раздался телефонный звонок. Медведев сделал Зуеву знак: «Меня здесь нет!» Зуев подошел к телефону, снял трубку, послушал, сказал несколько непонятных коротких фраз и вернулся к приятелям:

— Дима, твоей персоной интересуется Бриш. Я сказал ему, что ты у тещи на даче. Согласись, не очень-то хорошо врать. Да еще друзьям.

Медведев, думая о чем-то своем, снова глотнул рислингу:

— Переживает. Как вы считаете, почему Николая Первого называют реакционером?

— Ну, как... — Иванову вдруг захотелось вспомнить, что же было вчера. — Повесил пятерых декабристов. И тэ дэ и тэ пэ.

— Ошибаешься, братец, главным образом не поэтому.

— А почему? — Зуев зевал, еле перемогая себя.

— Потому, что он сжег первое издание Библии. Он не признавал Пятикнижия...

Зуев ушел, вымыл лицо и принес бутылку водки — вероятно, последнее, что имелось в его запасах.

— Это самоубийство, — проснулся Иванов, — пить водку после сухого и коньяка — это самоубийство...

— А может, убийство? — опять как-то необычно задумчиво произнес Медведев. — Впрочем, убийство и самоубийство — это одно и то же.

— Ну нет уж! — Иванов попытался встать. — Совершенно разные вещи.

— Да в чем же разница? — ухмыльнулся Медведев.

Зуев больше не слушал их, он спал на диване.

— Во-первых, в одном случае смерть принудительная, в другом — добровольная, во-вторых...

— Не говори мне о смерти! — резко перебил Медведев. — Мы ничего не знаем о ней. Ничего! А что такое убийство, знаем великолепно. Оно безнравственно. И кого ты убил, другого или себя, — это не столь важно.

— Нет, важно! — не сдавался Иванов.— Для самоубийства нужна, по крайней мере, смелость, воля.

— А для убийства? Разве не нужна эта самая смелость? Впрочем, любое убийство, в том числе и самоубийство, совершается чаще всего из трусости... А еще чаще — случайно.

Зуев храпел под этот полупьяный, но вполне осмыс-

ленный треп. Иванов и спал и не спал; ему что-то снилось, но он в то же время разговаривал с Медведевым, причем довольно логично.

Энергия же Медведева, видимо, еще только набирала разгон... И когда к полудню Зуев проснулся и разбудил нарколога, Медведева не оказалось на месте. Он исчез, не оставив после себя никаких следов, кроме своей клетчатой с ремешком кепчонки.

Пока Зуев разговаривал по телефону, Иванов успел сделать себе горячий душ. «Почему мы должны бегать за ним? — думал нарколог. — Черт с ним, пусть немного побесится». Но под спудом таких рассуждений — и это Иванов подсознательно ощущал — тихо струилась недоуменная горечь, может быть, даже жалость к Медведеву. У Зуева настроение было отнюдь не лучше.

— Звонила Наталья, — доложил он. — Люба хотела с ней приехать, но я сказал, что Медведев исчез.

— А Бриш? Не звонил? — спросил Иванов.

— Конечно, звонил. И самый первый. Мишка сыграл мне подъем, ну, а я уж тебе. Говорит, что вся группа ничего не делает. По институту ходят всякие толки.

— Он что, уже работает в медведевской группе?

— Так точно. Уже.

— Мне тоже надобно на работу! — разозлился Иванов.

— Зачем тебе ехать куда-то? Здесь тоже практика. — Зуев налил в стакан водки. — Смотри!

Иванов не стал смотреть и выплеснул свою порцию в форточку.

Зуев поморщился:

— А как быть нам, подводникам? Там за окно не выплеснешь.

Иванов не успел выяснить, что и сколько пьют в походе подводники. В дверях появилась вначале Наталья, затем Люба.

— Это опять вы? — и Люба Медведева, с глазами полными слез, отвернулась, увидев Иванова.

Иванов опешил. Она гневно ломала пальцы, но они не хрустели.

— Это вы! Вы, Иванов, виноваты, во всем! Что вы наговорили моему мужу после заграничной поездки?

— Любовь Викторовна... — начал было Иванов, но тут же смолк, пораженный ее словами.

— Я не буду слушать вас. Вы просто подонок! — сказала она.

...Иванов не помнил, как вышел из дому Зуевых, как добирался до ближайшего метро. Обида вскипала в горле, сердце учащенно билось. Ему хотелось расплакаться, как бывало когда-то в детстве. Вместо этого он сжимал зубы и улыбался. И думал: «Она несправедлива. Я никому ничего не рассказывал. Стоп, разве никому? Никому, кроме Зуева. Да, кроме Зуева. Но Зуев — это мертво. Откуда ты знаешь? Может... Нет, Зуев не мог. Он никому ничего не сказал. Но что из того? Ты говорил с ним. Значит, в итоге она права. Неужели она права?»

Обида на несправедливость сменилась стыдом, лицо его вспыхнуло, хотя никто не обращал на него никакого внимания: Москва жила по своим законам.

13

Через два дня на работу Иванову позвонил Бриш:

— Старик, ты не знаешь, где Димка? Дело совсем дрянь...

— Что случилось?

— Погиб Грузь! — В трубке трещало. — Медведева ждет весь институт... Где мы сможем увидеться? Разговор не по телефону. Я еду сейчас к Славке. Мы ждем тебя через час... — И Бриш сказал, где они будут ждать Иванова.

Москва равнодушно гудела за окнами. Иванов припомнил облик молодого медведевского сотрудника, его ироничный и грустный облик. Самое примечательное — это то, как Грузь поздравлял с праздником. Что это? Неужели он, Иванов, так бессердечен? Или появилась привычка к смертям...

Он снял халат, сказал старшей сестре, что едет по делу, и торопливо пошел к месту встречи. Зуевский «Москвич» на полпути догнал Иванова. Нарколог сел на заднее сиденье, не здороваясь, начал слушать, что говорил Бриш:

— А что ты хочешь? С такими ВЧ шутки плохи. Я всегда твердил: «Не надо лазать в схему, друзья!» Но этот

идиот залез в схему! В святая святых. Он еще на ватмане залез в схему... Надо срочно что-то придумывать.

— Что же тут можно придумать? — спросил Зуев, пытаясь найти место для «Москвича».

— Я, Славочка, говорю вовсе не о покойнике...

— Медведеву что-то грозит?

— Там уже ходят ребята из следственных органов. Установка стоит полмиллиона как минимум. Ко всему этому Грузь не сдавал ежегодный экзамен по технике безопасности. По крайней мере, это не зафиксировано на бумаге.

Зуев покачал головой. На углу Столешникова и Петровки он втиснулся наконец между «УАЗом» и каким-то задрипанным «Запорожцем». Под тентами напротив магазина «Петровский пассаж» тоже оказались места.

— Не представляю, куда он мог смотаться, — тихо сказал Зуев, а Иванов спросил:

— Когда будут похороны?

— Установка сработала не хуже всякого крематория, — сказал Бриш. — От него ничего не осталось. Только черная головешка. Не знаю, что решат родственники, а гражданская панихида в институте завтра. В семнадцать. Слушай, Иванов, ты видишь ту дамскую шарашку? Они поглядывают в нашу сторону.

В конце заведения действительно сидели за одним столиком три или четыре женщины. Иванов вгляделся и узнал в одной из них Валю — сестру. Она помахала ему. Он встал и прошел туда:

— Привет.

— Привет. Это Саша, мой брат.

Иванов улыбнулся всем сразу.

— Мы уже чувствуем. — Все дружно закудахтали. — Садитесь к нам.

— Благодарю, мы скоро уезжаем.

— У тебя неприятности? — спросила Валя, когда он отстранился с нею к барьеру.

— Никак не найду Медведева.

— Вай! Я же сегодня говорила с ним по телефону! Он пьяный. Спрашивал телефон той старушки. Бывшей их домработницы.

— Ты знаешь адрес?

— Адрес не знаю. Знаю, что телефон есть.

Через минуту Бриш пошел искать автомат, чтобы

позвонить Любе и узнать телефон и адрес бывшей медведевской домработницы. Он довольно быстро вернулся:

— Пижон. Даже не взял трубку.

— Но он точно там? — спросил Зуев.

— Едем. Вначале возьмем Любу, потом за ним.

Иванов отказался:

— Без меня у вас получится лучше.

Он хотел подсесть к сестриным подружкам, отмечавшим выход какой-то книги, но Бриш остановил:

— Слушай, ты не смог бы достать больничный лист? Иначе ему хана... Пять-шесть лет, а то и червонец.

— Алкашам не дают больничных листов. Ты же знаешь...

— Его ищут, чтобы взять подписку о невыезде.

— Я попробую, — пообещал Иванов и пошел к столу, где сидела его сестра.

Бриш объяснил Зуеву, как заехать на Разгуляй. Но Зуев запутался, выезжая с Петровки. Прошло много времени, пока они добрались.

На Разгуляе Зуев не стал выходить. Бриш ушел за Любой один. Зуев минут сорок сидел в машине, чувствуя себя словно в аквариуме. Все выходящие из подъезда, особенно женщины, внимательно его рассматривали. Наконец появились Люба и Бриш. Зуев ничего не стал спрашивать, молча пустил движок и оглянулся. Даже косвенный взгляд обнаружил бы следы недавних слез на ее белых от пудры крылышках носа.

Бриш назвал адрес, ехать было недалеко.

— Миша, может, вы сходите вдвоем со Славой? — заговорила Люба, когда Зуев остановился. — Я боюсь... опять только нарываться на оскорбления...

Оставив ее в машине, они вошли в подъезд. Поднялись на третий этаж. На звонок никто не ответил. Бриш взялся за ручку, дверь оказалась незапертой. Переглянувшись, они оба вошли в квартиру, по-видимому, она была однокомнатной.

— А, это вы... Вы? Конечно, вы! — Медведев сидел в кресле небритый и похудевший. — Бабушка ушла? Наверно, она ушла...

— Ты знаешь хоть, что случилось? — спросил Бриш скрипучим своим голосом.

— Знаю, дорогой, — Медведев глядел на него в упор и вроде бы улыбался.

Бриш продолжал:

— Основной контур сгорел полностью. Там уже лазают мальчики в акушерских перчатках.

— Чихал я на эту чертову мельницу! — закричал Медведев. — Ясно? Она все равно уже устарела! Ровно через полгода ее бы пришлось списать! Мне нисколько ее не жаль, мне жаль Грузя...

— Жену тебе тоже, видать, не жаль? Она сидит там, в машине.

— Еще неизвестно, чья это жена. Вот что я тебе доложу, дорогой Мишель!

— Димка, что ты несешь?

— Грузь! Мы все не годились ему в подметки. Два! Целых два старых пер... выехали на нем. Один прямо в лауреаты, другой в академики! Он бы... он бы выволок в членкоры еще столько же дураков! Этот младший научный сотрудник...

Медведев издал непонятный горловой звук, замер и, сидя в кресле с крепко сжатыми кулаками, зажмурился. Блеснули слезы.

— Идите отсюда вон... Оба! — прошептал он, и Бриш едва разобрал эти слова.

Внизу он уклонился от встречи с тревожным и вопросительным взглядом жены Медведева. Зуев сел за руль. Она ждала, держа дверцу машины открытой.

— Люба, тебе лучше туда не ходить, — сказал Бриш.

— Почему? Что он делает?

Бриш не ответил.

— Слава, довези меня до метро.

Она колебалась, все еще держа дверцу открытой. Зуев нажал на кнопку стартера. Дверца наконец хлопнула. На «Лермонтовской» Бриш, прежде чем выйти, сказал Зуеву:

— Во что бы то ни стало надо достать бюллетень. Иначе... Братцы, иначе я ни за что не ручаюсь.

— Он что, заболел? — вскинулась Люба.

— Он здоров как бык! Но он пьян как сапожник. И вообще он просто медведь, если бросается такими женщинами. До свидания...

Бриш влился в толпу, но его долговязая фигура растворилась в этой толпе только у входа в метро. Люба прикладывала к глазам платок, когда Зуев остановился на Разгуляе.

— Проводи меня, Славик,— сказала она, сглатывая слезную горечь.

Простота и беспомощность этой неожиданной просьбы вызвали в нем восторг и нежность. Он ничем не проявил своего небесного состояния, он только небрежно спросил:

— А нет у тебя там? Моей... как ее... супружницы.

— Нет, нет. Ты что, боишься своей жены? — она улыбнулась, хотя в синих ее глазах, он это ясно видел, было полно слез. — Наташа на работе. Вечером она собиралась к маме на дачу. Ты когда уезжаешь?

— Осталось два дня.

Он шел за ней, отставая ровно на одну лестничную ступень.

— Надолго? — она уже искала ключи, близоруко перебирая содержимое сумочки.

— Да. Очень надолго.

— Что ж... — Она открыла обитую массивную дверь.— Я хотела тебе что-то ска гь. Постой... Все на свете перезабыла. Да. Я всегда вспоминаю тот подснежничек.

Он стоял совсем от нее близко, с насмешливой лаской смотрел на ее волосы, с трех сторон закрывающие не по-летнему белую шею, на сумочку, которую она держала, прижав к самым ключицам. Наконец он посмотрел и в ее лицо.

— Поцелуй меня,— отводя взгляд, тихо произнесла она.

Он осторожно положил свои ладони на ее мягкие, но почему-то холодные плечи. Все в нем радостно содрогнулось и все смешалось. Пальцы его сжимались нежно, осторожно и медленно, так же медленно его голова склонялась к белеющему словно бы сквозь водную толщу дорогому для него лицу. Он услышал восхитительный запах — какой-то давний и совершенно новый, истинно женский запах. И он приник к ее лицу, вернее к ее образу, выношенному в двух долгих походах, запечатленному в его снах и видениях. Вначале она занемела, немигающая и отрешенно-горькая, но через мгновение веки ее сузились, а зубы разжались. Она ответила на движения его губ всем ртом и затем вся приникла к нему.

— Мама!

Он отстранился от Любы, словно ударенный током.

Девочка стояла у двери, не двигаясь, в неестественном, неловком для нее положении. И столько недоуменного, непосильного для нее горя копилось в этих распахнутых детских глазах!

Зуев, ничего не видя перед собой, бросился вниз по лестнице. Никогда, никогда не испытывал он такого всепоглощающего и унизительного стыда...

«Тварь... — промычал он сквозь сжатые зубы. — Я самая последняя тварь. Она тоже тварь. Нельзя, нельзя же было этого делать!»

И хотелось ему по-волчьи утробно на всю Москву взвыть: небритый пьяный Медведев... белки ее глаз и запах ее пота... по-взрослому трагические глаза потрясенной девочки. И он, Зуев, при этом! Капитан-лейтенант, которому снятся дамские сны. Неужели Иванов прав? О боже! Он, Зуев, давно плюнул на то, как ведет себя Наталья, но он терпел ее такой, принимал ее жизненный стиль потому, что в мире существовала Люба, другая женщина, не похожая на его, зуевскую, жену. Он прощал неверность своей жене и был готов нести этот крест, только бы знать, что есть и другие женщины, такие, как Люба. Но Люба тоже тварь...

Зуев ехал в своем «Москвиче» не зная куда. Он ехал куда глаза глядят. Москва шумела, фыркала, скрежетала железом и визжала вокруг него тормозными колодками. Разогретый асфальт был похож на черное тесто. «Тварь... — мысленно продолжал твердить Зуев. — Может быть, и все мы просто твари... А кто же еще?»

Он давнул на акселератор и крутнул рулем влево, обгоняя вонючую самосвальную тушу. Раздался скрежет справа. Машину дернуло и даже чуть развернуло, но Зуев выровнялся и газанул до синего дыму. «Москвич», увы, никуда не спешил. Он только тихонько по инерции катился в левом ряду. Сцепление по каким-то причинам не действовало...

Через четверть часа милицейский «уазик» отбуксировал Зуева куда-то в проходной двор. Помятый бок машины вызвал у хозяина презрительную улыбку, чуть ли не смех, а это в свою очередь необычно подействовало на милицию. На талоне пробили дыру и отпустили, а Зуев снова — теперь пешком — направился по Москве не зная куда.

Может быть, Зуеву следовало вернуться на Петровку в кафе под открытым небом? Только он не терпел повторений. Здесь, когда нарколог замолк и начал с фамильярной веселостью рассматривать компанию, сестра Валя вскочила с места:

— О господи!

Она была так откровенно взволнована, что Иванов пожалел сейчас не Медведева, а прапорщика.

— Сделай же что-нибудь! Ты же медик!

— Есть один адрес.

— Едем?

Он хотел рассчитаться, но ему не позволили. Валя спешно попрощалась с подругами. Большая очередь на такси поминутно обновлялась, но машины подходили одна за другой. Через десять минут Иванов сел на переднее сиденье и сказал примерное направление. Потом вытащил записную книжку и назвал точный адрес.

Таксист провез их через Таганку. Мелькнули какие-то парящие корпуса, заборы мясокомбината. Нарколог, знакомый Иванову, ответил по внутреннему номеру:

— Сейчас я спущусь к вам.

Это «сейчас» длилось около двадцати минут. Наконец он появился в подъезде. Иванов коротко объяснил свою просьбу. Сразу стало ясно, что ничего не получится.

— У нас действительно есть терапевты, — сказал врач. — Но мой приятель в Сочах, уехал к дельфинам. С этими же у меня шапочное знакомство...

— А если попробовать?

— Нет, не могу. Извини.

Знакомый Иванова ушел.

— Может, ты ему мало пообещал? — спросила Валя.

— Он сделал бы! — раздраженно перебил Иванов. — Без всяких обещаний. Просто не повезло...

Таксист ждал, не зная, куда ехать.

— Слушай, — заговорила сестра. — Разве Светлана уже не работает в медицине?

Бывшая жена Иванова действительно работала в институте Вишневского. Иванов ничего не мог возразить, у Вали возникло простое и гениальное предложение...

— А ты сможешь поговорить с сестрой Зуева без меня? — спросил Иванов.

— Нет. Ты поговоришь со своей женой сам.

Иванов хмыкнул.

Пока таксист выбирался из мясокомбинатовских лабиринтов, пока вырулил на кольцо, прошло еще полчаса. Минуты сегодня летели, часы бежали. До обеденного перерыва оставалось всего ничего. Около метро «Октябрьская» они отпустили такси. Сестра исчезла в метро после того, как взяла с Иванова слово, что он обязательно разыщет Светлану и позвонит вечером.

Иванов не успел одуматься, как очутился один в душной толпе около универмага. Встречаться с женой, да еще с разведенной, совсем не входило в его планы...

Делать, однако ж, было нечего. Судьба Медведева, как говорил Бриш, висела на волоске: если они достанут больничный лист, следствие сразу пойдет по иному руслу. И сделать это надо было сегодня, сейчас. Завтра будет наверняка поздно...

Мысленно ругая Медведева, Бриша, а заодно и всю московскую жару, суматоху и толкотню, Иванов двинулся в институт Вишневского. Приемная была забита хромающими иногородними. «Облитерирующий энд-артериит, — Иванов еле вспомнил название грозного заболевания. — Бедняги! И ни один ведь не бросит ни пить, ни курить. Видно по физиономиям...»

Он поймал молодого парня, облаченного в белый халат, и спросил, знает ли он такого-то (Иванов назвал фамилию доктора, в отделении которого работала Светлана). Парень хорошо знал доктора. Иванов спросил, как туда позвонить, но парень предложил:

— Идемте, я проведу!

Халат, полученный Ивановым у гардеробщицы, был тоже белый, но не совсем, лестничные площадки изрядно замусорены. Зато в отделении оказалось очень чисто, тихо и даже уютно. Парень попросил вызвать Светлану Иванову. Иванов присел в кресло в конце коридора у окна, под мясистым ядовито-зеленым фикусом. Взглянул на носки ботинок и концы обшарпанных джинсов. Вид собственных конечностей устыдил его... Иванов высчитал, что не видел жену больше чем полгода.

Она шла вдоль застекленных дверей — тоже в халате, и в довольно белом халате, чуть располневшая, шла безупречной своей походкой, уверенно и картинно. Волосы оказались окрашенными хной.

— Ты? — глаза ее округлились. — Какими судьбами? Вот уж никогда бы не подумала.

— Привет! — Иванов неторопливо встал. — У тебя есть двадцать минут?

— Конечно, и даже больше, — но она посмотрела-таки на часы. — Что-нибудь случилось?

— Не со мной. Ты помнишь Медведева?

— Какого еще Медведева? Не помню никакого Медведева.

Ее раздражало то, что он все еще не спросил у нее о ней самой. Он не поверил ее холодному тону, но не осмелился и на ухмылку. Конечно, ему более всего хотелось спросить именно о ней, но он почему-то снова дразнил ее. Конфронтация продолжалась.

— А что произошло с этим твоим Медведевым?

Желание поспорить было всегдашним и обычным ее состоянием. Оно и сейчас открыто звучало в ее насмешливом тоне:

— Поделись.

Неожиданно для себя Иванов предложил:

— Слушай, может быть, мы пообедаем?

Ее, видимо, озадачило то, что Иванов не стал спорить. Вся их трехлетняя совместная жизнь при дневном свете состояла по преимуществу из полемики. Иные способы общения возникали лишь по ночам и, может быть, только поэтому не закрепились и остались не главными.

— Ну? Так как? — снова спросил Иванов.

— Ты приглашаешь меня?

Но это была ее последняя попытка создать «поле», как говорил Медведев. Иванов и сам занимался когда-то радиотехникой. Противопоставление потухало само по себе, если не было источника поощрения. «Как много было у нас этих самых источников, — думал Иванов. — Спорили всюду, где надо и где не надо».

Она ушла отпрашиваться с работы, и он вспомнил о колебательном контуре. Простейшее сочетание катушки и конденсатора... Достаточно, может быть, одного лишнего электрона, чтобы возникла индукция. Плюс-минус... Разряжается конденсатор — в цепи появляется едва уловимый ток. Силовые линии от этого тока пересекают витки соленоида, провоцируя обратный электропоток, а он заряжает конденсатор с еще большей силой. Или наоборот? Но это не так важно. Важно то, что все это точь-в-точь как в отношениях мужчины и женщины... «Ты приглашаешь меня?» — дальнейшее зависело от того, как

воспринять эту фразу. Если разрядиться, как тот конденсатор, то...

Черт бы побрал этот колебательный контур! А для каких электромонстров Грузь и Медведев просили у правительства золото на контакты? Ему, Иванову, уже недоступна эта электрорадиотехника. Эта ихняя микроэлектроника. Все эти маятниковые эффекты, все волны и затухающие колебания. Туда-сюда...

Он вновь посмотрел на свои джинсы. Идти в ресторан в таком виде? Ничего. Ведь не обязательно в «Прагу». Можно и не очень шикарно...

Светлана возвращалась к нему. Шла, одетая довольно элегантно — в новый светло-коричневый шерстяной костюм. Сумка кофейного цвета очень хорошо шла к этому костюму. И вдруг он с ужасом вспомнил, что денег на ресторан у него просто нет. Кажется, в кармане всего какие-то два трояка. О черт! Почему он забыл об этом? Разве не сестра возила его на такси?

Иванов лихорадочно соображал, что делать... Но судьба словно бы сжалилась над наркологом, когда Светлана сказала:

— Извини, но я не могу пойти с тобой в ресторан.

— Почему?

— Я обещала уже... У меня встреча.

Теперь Иванов был снова наказан, только с другой, неожиданной и, оказалось, более болезненной стороны. Ему, как когда-то, в дни дальней юности, стало совсем обидно. Может, она его просто дразнит? Испытывает? Но какой ей смысл? Так или иначе, он был удивлен. Такая безделица — и вдруг оказалась обидной. Что это? Ведь они же давно развелись с этой женщиной...

— Что ж... — он был растерян. — Зайдем в какое-нибудь кафе. Выпьем соку.

— Так что же случилось с твоим Медведевым? — повторила она вопрос, и снова насмешливо.

— Сейчас скажу, — отозвался он просто и добродушно. — Только сперва... как живется тебе?

Пройдя филиал Малого театра, они нашли небольшое кафе. Но он не хотел выслушивать подробности жизни в этих безденежных, оскорбляющих его условиях. Он несколько раз перебивал ее... Между тем время быстро шло к концу рабочего дня. Он вспомнил про Медведева и сказал, зачем он искал ее.

— Я помню его. И его жену тоже. — Светлана прикидывала что-то свое. — У нас ничего не выйдет. Мой шеф слишком правильный дядька.

— Ты права. Для этого надо хоть чуточку бы испорченного. Или совсем испорченного, вроде меня...

— У меня есть одна знакомая. Сколько сейчас времени?

Иванов допил яблочный сок и остановил подвернувшееся такси...

Знакомая Светланы, служившая старшей сестрой в одной из больниц, только-только закончила смену и уехала. Светлане с большим трудом удалось выклянчить домашний адрес. Тот же таксист погнал в противоположный край города. Деньги Иванова стремительно таяли, он то и дело глядел на счетчик. Светлана долго ходила, искала нужный подъезд. Прошло минут десять, счетчик тикал так, словно щелкал Иванова прямо по темечку. Таксист нервничал. Светлана появилась вдвоем с подругой. Вернее, подруга со Светланой:

— Здрасте! Едем на Каланчевку.

Иванов уловил в этом «здрасте» иронию по отношению к нему.

— Это что, три вокзала? — уточнил таксист и добавил: — У меня на исходе бензин. Я пересажу вас на другую машину.

...Пока пересаживались, смысл ехать на Каланчевку исчез: там работали до пяти. Но подруга Светланы была полна энергии. Она звонила куда-то снова и снова... Снова и снова они везли нарколога по каким-то неизвестным ему адресам.

— У меня кончаются деньги! — громко и напрямик заявил Иванов.

— Ничего, у нее есть, — обронила Светлана.

Иванов, совсем взбешенный, приказал таксисту остановиться. Подал ему восемь рублей, поскольку одна из трешниц неожиданно оказалась пятеркой. Но подруга Светланы перехватила деньги, аккуратно положила их в свою сумочку и продиктовала шоферу новый адрес...

Все это изрядно смахивало на издевательство. Иванов поглядел сначала на одну, потом на другую. Обе болтали, словно ничего не случилось. Шофер вел машину, не вникая в пассажирские тонкости. Что было делать? Иванов вздохнул и ехидно спросил жену, не опоздает ли она на свидание.

— Нет, — она посмотрела на часы. — Не опоздаю.

Иванов не удержался и от другого вопроса:

— Он кто у тебя, из лириков или из физиков?

— Военный, — просто сказала Светлана, — да ты же его отлично знаешь.

— Славка, что ли?

— Ну да! Он уже ждет. Пожалуйста, остановитесь у Пушкина!

Вначале он удивился оттого, что после этих ее слов почувствовал явное облегчение. Затем разозлился сам на себя. Светлана, кажется, ничего этого не замечала, она просто болтала. Ее подруга сидела сейчас на переднем сиденье. Светлана украдкой шепнула ему на ухо: «Она обязательно своего добьется! Вот увидишь. Ты еще не знаешь ее...»

Да, Иванов действительно не знал. Он ездил с новой знакомой до семи часов вечера, даже не спрашивая ее имени. Нигде ничего не получилось, везде кого-нибудь не было. Новые варианты плодились в ее голове прямо тут же, на месте очередной неудачи... Иванов теперь не смотрел на таксометр, он решил, что ездит за свой счет. Он знал, что завтра же найдет денег и рассчитается с этой удивительной женщиной. Дело было в том, что ничего не получалось. Иванов дважды предлагал прекратить свистопляску, но подруга жены не желала его слушать. Она называла таксисту все новые адреса. Откуда столько энергии? Столько желания помочь совершенно чужим, незнакомым людям? Украдкой Иванов глядел на нее и удивлялся. Нет, мир пока еще не погиб. Пока существуют такие женщины, есть смысл во всем. В том числе и в том, чтобы всегда оставаться мужчиной.

...Он вернулся домой глубокой ночью. Пришлось-таки обмывать этот голубенький, такой драгоценный бумажный листок! Мокрый от пота, похудевший, но все равно очень собой довольный, нарколог сразу же позвонил Бришу. А тот словно окатил его холодной водой:

— Старик, я еще до обеда достал то, что надо. Это стоило сорок рэ.

— Зачем же доставал я? — взбесился Иванов.

— Ты успокойся, — сказал Бриш насмешливо. — Может, ты и не напрасно старался.

— Что ты хочешь сказать?

— То, что он порвал эту цидулю на восемь равных частей. Сидит и решает гамлетовские вопросы...

Иванов долго глядел в одну точку, долго клал трубку на телефонные рычаги.

«Медведев Дмитрий Андреевич, — прочитал он запись на этом голубеньком небольшом листочке. — DS: стенокардия. Освобождается от работы...»

Освобожден с такого-то по такое-то. И авария на заводе, и смерть Жени Грузя располагались как раз между двумя этими цифрами. Треугольная печать так жирна, что на ней ничего нельзя разобрать. Подпись была такой же загадочной.

Иванов усмехнулся. Он скомкал листочек в своем напрягшемся кулаке и отбросил прочь.

Часть вторая

БЕЗОБЛАЧНОЕ СИРОТСТВО

1

Прошло около десяти лет, и по утрам воздух в Москве все еще хранил запах арбуза, и необъятная плоть города за коротенькие ночные часы еще успевала пропитываться целительной тишиной. И еще оставались в столице места, где можно было сбиться с навязанного тебе машинного ритма, отдышаться и перевести дух, не торопясь посмотреть газету или подремать, съесть мороженое или поболтать с добродушной московской теткой.

Но таких мест становилось меньше и меньше... Вышедший из человеческого подчинения гигантский город расширялся по зеленой земле, углублялся в ее недра и тянулся ввысь, не признавая ничьих резонов. Незаметно для москвичей понемногу исчезали в столице бани и бублики; фанта и пепси-кола усердно соревновались с иными напитками, окна первых этажей украшались ажурными решетками, а в метро уже появились станции, не успевающие за ночь проветриваться. Так много всего случилось за десять лет! Александр Николаевич Иванов был теперь едва ли не ведущим специалистом в клинике для так называемых нервных больных. Но респектабельное название, привилегированный состав пациентов, лечебная музыка в холле, где висели подлинники современной живописи, — все это существовало лишь, как говорится, для дураков. Никто не сомневался в том, что Иванов лечил обычных пьяниц, правда, пьяниц интеллигентных.

«У нас не какая-нибудь там «Матросская тишина», — ехидно говорил он, — у нас тишина особая, адмиральская».

Чего только не видел и не слышал Иванов, каких не насмотрелся комедий и фарсов, свидетелем каких трагедий не был за последние десять лет! Пожалуй, самому Шекспиру весьма далеко до всего этого...

Иванов поседел, располнел. Теперь в его глазах сверкала иногда и холодная отчужденность. В движениях по-

явилась уверенная неторопливость. В разговоре чувствовалась усталость от обилия информации. Еле заметный налет цинизма придавал этому основанному на опыте всезнанию особый привкус. Импортный серый костюм сидел на Иванове как нельзя лучше, небольшой, но хорошо обставленный кабинет служил как бы естественным продолжением своего хозяина. О медицине напоминал здесь лишь белый халат на вешалке да аппарат для замера артериального давления. Благоухающий, как говорилось в старое время, пышный букет сирени и роскошный настенный календарь, изданный фирмой «ЭЛОРГ», совсем бы допекли посетителя, если б не запахи вездесущей хлорки, проникающие в кабинет из больничного коридора.

— Так-таки сразу и ЛТП,— проговорил Иванов и поджал губы.— А ты хоть знаешь, Мишенька, что такое ЛТП?

— Не знаю и не хочу знать,— твердо сказал Бриш, который сидел на диване напротив. Его длинные ноги занимали все пространство вплоть до ивановского письменного стола.

— Зря, — тоже твердо произнес нарколог.

— Что зря?

— Ну, во-первых, нет там никакого лечения, в этом ЛТП, во-вторых, решение о направлении принимают родственники совместно с местной властью, в-третьих...

— Да черт с ней, — перебил Михаил Григорьевич. — Ну забери ты ее куда-нибудь. Хоть в ЛТП, хоть к себе в клинику. С Зуевым я никак не могу связаться. Он в Люберцах, что ли, живет? После этой идиотской автокатастрофы я так и не видел его.

— Насколько я знаю, Зуев с Натальей давно развелись, — сказал Иванов, стараясь припомнить, кого же так ярко, так настойчиво напоминал сейчас Бриш. Даже интонации скрипучего голоса, даже покачивание ногой. Ну да, вспомнилось... Вот так же, с теми же интонациями, объяснялся с Ивановым когда-то тот психиатр, который писал диссертацию о врожденном алкоголизме. Точь-в-точь. Но не это, нет, вовсе не это волновало сейчас Иванова. Он думал о предстоящих похоронах своего зятя, куда ему так не хотелось ехать, но куда ехать все равно надо, причем времени оставалось всего ничего. Бриш, по всему видать, не собирался уходить без определенного результата.

— Она вроде бы твоя родственница?

— Кто, Наталья? — очнулся Иванов. — Ну да. Бывшая жена Зуева, а тот — брат моей бывшей и настоящей жены.

— Как, я что-то не разберусь. Ты снова развелся?

— Почему снова? Всего один раз. Но Светлане этого оказалось достаточно. Она стала совсем другим человеком. Да, мы женились с ней дважды... — Иванов щурился в наплыве самоиронии. — А ты... Как у тебя семейство? Люба работает?

— Прекрасно. — Михаил Георгиевич чуть-чуть, совсем ненадолго задумался. — Да, все хорошо, дружок. Но... разве может быть хорошо в таком окружении? Хамство так и прет. Из каждой дыры...

Иванов слушал с улыбкой, ему вдруг вспомнилась их давняя поездка во Францию, парижская гостиница «Ситэ-Бержер» и свет в коридоре, погасший автоматически.

— Давно хотел спросить тебя... — с дурашливой миной сказал Иванов. — Ты тогда выиграл пари?

— Когда? Какое пари? — Бриш глядел с удивлением.

— Ну, эту самую... «Белую лошадь». В Париже.

— Не понимаю, о чем ты спрашиваешь.

— Ну хорошо, — Иванов поглядел на часы. — Ты видимо, позабыл. Так вот, я постараюсь помочь Наталье. Найду место, но в другой лечебнице. Но учти, необходимо ее добровольное согласие.

— Вы что, у каждого алкоголика спрашиваете согласие? — насмешливо улыбнулся Бриш.

— Мы — у каждого. А вы — не знаю. — Иванов почувствовал приближение ссоры и встал. — Знаешь, мне надо ехать на похороны.

— Что ж... — вздохнул Бриш, не спрашивая, кого будет хоронить Иванов. — Придется просить других. Все равно надо спасать человека...

— Давай спасай, — мирно сказал Иванов. Однако раздражение его нарастало.

Они простились во дворе клиники. «Откуда у него это право? — подумалось Иванову. — Хочет спасать Наталью... Но постарел тоже. Седой...»

Иванов не мог не поехать на похороны. Сестра Валя, оставшаяся вдовой с тремя детьми, была единственным родным человеком в Москве. Иванов не был близок с покойным зятем: тот жил в постоянных командировках. Но его необычная смерть уязвила Иванова, и горечь от тако-

го известия не проходила, становилась с каждым часом сильнее и резче. Иванов чувствовал приближение какой-то странной ясности и решимости, но от этого приближения обида за родную сестру и ее трех осиротевших девчонок не становилась слабее.

Никаких хлопот, никаких хождений за справками, разрешениями, никаких поездок за венками не потребовалось. Нужно было просто приехать к определенному часу в определенное место. Иванов взял такси, приехал на вокзал и, словно бы кому-то назло, без билета сел в отходящую электричку. Народу было почему-то битком. Вскоре пришлось уступить место и торчать в тамбуре, воняющем застарелой табачной гарью. Курильщики раздражали нарколога, пожалуй, не меньше чем алкоголики, табачная вонь повсюду стояла в Москве. Достаточно было в час пик пройти от театра Ермоловой до Моссовета, чтобы голова закружилась от табачного дыма.

— Мальчики, может, перестанете курить? — не удержался Иванов и сделал попытку свести дело к юмору: — Как же будете с девчонками-то целоваться...

— Хо! — парни заржали. — Девчонки сами палят.

— Ну, я бы с такими не стал даже разговаривать.

— А мы и не разговариваем.

Иванов был не рад общению с новейшим поколением, он вышел из вагона с чувством возрастающей горечи.

Дорогу к кладбищу указали ему тотчас. Он не стал ждать автобус и пошел пешком по тропе. Она бежала через овражек, заросший высокими цветами морковника, потом через поле озимой ржи. Хлеба стояли уже по пояс. У Иванова было еще время, и он не спешил. С удовольствием, давно не испытываемым, он миновал рожь, сориентировался на зеленую кладбищенскую стену дерев, над которой виднелись церковное пятиглавие и шпиль колокольни. Он свернул с тропы прямо на обширный луг. Всполошенные его появлением чибисы вскоре затихли, перестали пищать и метаться, зато жаворонок по-весеннему заливался вверху. Он трепыхался, поднимаясь все выше и выше, но журчащий его голос все равно был яснее и громче урчания машин на ближней дороге.

Иванов огляделся. Москва, казалось, навсегда исчезла куда-то. Лишь ажурные опоры высоковольтных линий напоминали о размахе технической цивилизации. Невдалеке стояли навесы отгонного совхозного пастбища. На другой стороне луга виднелось какое-то строящееся

сооружение. Любопытство, так не свойственное возрасту Иванова, заставило его приблизиться к этой непонятной махине.

— Что это вы строите? — спросил Иванов у парня в джинсах.

Мощный загорелый торс строителя венчала черная, давно не стриженная голова. Эта голова не сразу повернулась в сторону Иванова:

— Как вам сказать...

— Так и скажите, как есть,— произнес Иванов.— Что такое? Ежели не секрет.

— Это наша атомная установка.

— Да?

— Честное слово.

— А что она будет делать, когда построите? — не унимался Иванов. Ему почему-то нравился этот парень.

— Кажется, тяжелую воду. Шеф, объясните товарищу. Необходимы подробности.

Из недр сооружения вылез и по легкой стремянке, по-флотски, то есть передом, спустился другой строитель, тоже в джинсах. Его окладистая каштаново-рыжеватая борода кое-где была серебряной от седин. Эта трехцветная масть и бросалась в глаза прежде всего. Бородач застыл на предпоследней ступени стремянки:

— Иванов? Саша?

Голос оказался сочным, по-мальчишески чистым и до смешного знакомым. Иванов недоуменно молчал, разглядывая. Наконец нарколога осенило:

— Медведев, что ли?

...От него в самом прямом смысле пахло потом. Мускулистые руки и впрямь напоминали что-то по-медвежьи лесное и основательное, кряжистая фигура была такой же подвижной.

— Ну, братец! — радовался Медведев. — Не ждал я такой встречи. Как ты тут очутился?

Иванов коротко рассказал, «как он тут очутился». Лицо Медведева сразу переменилось. Он сжал кулаки, раздвинул и словно хотел вдребезги расшибить их друг о друга, но в последний момент как бы опомнился, разжал пальцы, крепко и резко сцепил их и так же резко разъединил руки. Казалось, он рявкнет сейчас в бессильном отчаянии, но вместо этого сдержанно то ли крякнул, то ли кашлянул:

— Ну и что? Сейчас похороны?

Иванов кивнул. Медведев крикнул:

— Витя, там провод под напряжением! Смотри. И брось мне рубаху, пожалуйста. Я встретил старого друга...

Они пошли через ту же рожь, в сторону кладбища. Иванов был рад встрече, особенно взволновало его то, что Медведев назвал его «старым другом». Мог ли он, Иванов, назвать «старым другом» его, Медведева? Нет, пожалуй. Не мог и никогда не осмелился бы. Восхищение этим человеком и пусть маленькая, но разница в годах, смешанные с боязнью фамильярности, так и оставались нетронутыми все эти десять лет, пронесшиеся с такой быстротой. Иванов тотчас устыдился этой мысли о быстроте. Для Медведева годы эти прошли не так-то, наверное, и быстро. Иванов не стал спрашивать об этих годах. Он со стыдом вспомнил о том, что даже не знал, где Медведев отбывал шестилетний срок, не написал ему ни разу и даже не пытался узнать адрес. Угадывая покаянные мысли Иванова, Медведев похлопал его по спине:

— Старина, я прекрасно знаю, что такое Москва. А что случилось со Славкой? Я слышал, он стал инвалидом.

Иванов рассказал о дорожной аварии, после которой Зуев навсегда покинул военный флот.

— Никто не верит, что за рулем был не он, — закончил нарколог.

— Все равно этого нужно было ожидать, — произнес Медведев. — Кстати, а как Наталья? Все еще бегает за каждым смазливым студентом?

— Не совсем...

Иванову не хотелось говорить про Наталью. Разговор обязательно привел бы к Бришу и через него к Любе и детям Медведева. Знал ли Медведев о замужестве Любы? Судя по всему — знал, а если и не знал, то Иванову лучше было помалкивать.

...Несколько служебных машин — «уазиков» с воинскими номерами — стояло у железных ворот. Группа людей — человек пятнадцать, в том числе сестра Валя с тремя дочерьми, — вышла из автобуса. Иванов помахал, давая знать, что он здесь. Люди торопливо прошли в глубь кладбища.

— А вы кто? — грубо спросил один из них, когда Иванов и Медведев пошли следом.

Иванов прищурился. Захотелось ответить тем же вопросом, но он сдержался:

— Я шурин покойного. Вы, вероятно, знаете, что значит шурин. А это... это мой знакомый.

Иванов и сейчас постеснялся назвать Медведева другом.

— Пройдите, — человек с траурной красной повязкой с недовольным видом окинул их взглядом и отвернулся.

Кто-то уже говорил над могилой. Иванов не успел и опомниться, как гроб, обитый красным, был опущен и земля посыпалась. Не прошло и десяти минут, как временный деревянный обелиск уже стоял на своем месте. Две девочки — одна из них была в школьной форме — положили на землю цветы. Сестра Валя, держа за руку третью, самую младшую, тоже положила цветы. Иванов легонько сжал ее за предплечье. Она не оглянулась, но Иванов видел, что глаза ее были сухими. Она спросила:

— Поедешь с нами? Или у тебя своя машина?

— Поеду на электричке.

Смутное, неосознанное раздражение помешало ему сказать о том, что он встретил Медведева. Валя махала кому-то, совсем обыденно.

Иванов отвернулся, сжимая зубы. «Что с нами? — думал нарколог. — Мы разучились даже плакать. Женщины и то разучились...»

Медведева рядом не было.

Растерянно и тихонько пошел Иванов от могилы своего зятя. Остановился. Ограды, кресты, могильные плиты, холмики — все это обросло крапивой и тем же морковником, но церковь была действующая. Кое-где плавал легкий пух одуванчиков. Иванов остановился, чтобы сообразить, где он и что должно быть дальше. На глаза попалась деревянная, крашенная зеленой краской оградка. Она ограничивала небольшое пространство со скамеечкой и невысокой бетонной стелой. На стеле был выдавлен маленький православный крестик, а под ним буквы, крашенные когда-то под золото. «Грузь Евгений Мартынович», — прочитал Иванов. Цифры, обозначавшие время рождения и смерти, разъединяла небольшая черточка вроде тире. «Неужели это и есть жизнь? — ужаснулся Иванов. — Это коротенькое тире между двумя датами. Непостижимо...»

Грузь... Евгений. Что-то неуловимое, но знакомое было в этой фамилии. Слегка напрягая память, Иванов без труда припомнил Ленинградский вокзал, встречу Медведева и стычку с носильщиками. Вспомнилось это

всегдашнее: «С праздничком вас!» Кстати, сегодня тоже какой-то День. Какой? То ли химика, то ли мелиоратора...

У ворот уже начинались другие похороны, в отличие от предыдущих, весьма многолюдные. Автобус с Валей и племянницами еще не уехал.

Медведев ждал Иванова у церковной паперти, хмуро жевал длинный и тонкий стебель полевого пырея.

— Как ты думаешь, есть разница между умершим и живущим? Я имею в виду духовную сущность, а не физическую. «Не стало такого-то», — говорится в некрологе. Но что значит «не стало»? Пишут: «Ушел из жизни». А куда? Только отвечай своими словами! Без всяких там субстанций...

— Разницы нет, — ответил Иванов неуверенно. — Во всяком случае, мне хочется, чтобы не было.

— Мало ли чего хочется, — усмехнулся Медведев.

Иванов сказал, что случайно наткнулся на могилу Жени Грузя.

— Да, да. Я знаю. — Медведев вскочил. — Ну так что? Поедешь или пойдем потолкуем?

— Нет уж, давай потолкуем! — горько улыбнулся Иванов.

— Я тоже так думаю. Хочешь, познакомлю с моими строителями?

— Ты что, командир?

— О, еще какой! — Медведев почесал бороду. — Бригада у меня будь спокоен.

— А вы что строите?

— Монтируем сушилку. Директор совхоза ухитряется строить хозяйственным способом. Финансистов обманывает почем зря, но строит. Ругают, а после хвалят. Идем, идем! Или ты на поминки едешь?

— Да нет, туда-то я совсем не хочу, — сказал Иванов.

— Не пьешь? Совсем? Да, я забыл, что ты нарколог. Что, интересная специальность? Зуева мне ужасно жалко. «И какой же русский не любит быстрой езды!» Очень неосторожную фразу кинул Николай Васильевич Гоголь! Она дорого нам обходится. Ты не согласен? Правильно, мы прямо-таки привыкли всегда на кого-нибудь ссылаться. Даже на князя Владимира: «Веселие на Руси» и тэ дэ. Не говорил же князь такой ерунды! Он сказал не так и совсем по другому поводу. Ты согласен?

Медведев так и сыпал вопросами. Иванов не успевал

отвечать. В деревне, похожей больше на дачный поселок, они остановились у небольшого, но очень опрятного домика, с садиком и какими-то ветхими сараюшками.

— Вот здесь и жил Женя Грузь, — сказал Медведев. — Мы, мерзавцы, так и не дали ему квартиру...

Медведев открыл калитку и провел гостя к уютной чистой сарайке, запрятанной в зеленых ветках берез и черемух:

— Не приглашаю тебя в комнату, потому что там хуже. Садись. Отдыхай. Можешь прилечь, если хочешь. Я сейчас.

И Медведев исчез в доме.

К Иванову вновь возвращалось представление о забытой медведевской стремительности, о его уме и энергии.

Сарайка с земляным полом была дощатой, обитой разорванными картонными ящиками. Железная кровать, застеленная байковым одеялом, занимала третью часть всей площади. Небольшой столик и два табурета занимали еще одну треть. Окна совсем не было. Зато на столе в углу имелась довольно сильная настольная лампа. Иванов выглянул было наружу, но приближавшийся Медведев не дал ему разглядеть садик и задворки дома:

— Знаешь, нам все равно никто не поверит, что мы не пили. Поэтому я и притащил бутылку муската. Открыть?

— Как хочешь. — Иванов пожал плечами. — Ты не пробовал устроиться на работу в городе? Как-то не очень прилично: кандидат наук строит сушилки. Все-таки эпоха НТР и прочее.

— НТР? Голубчик, все это чушь собачья! Придумали на потребу тому, кто придумывал. А знаешь, что Федор Иванович Тютчев сказал об ученых? Он говорит, что все они похожи на туземцев, которые жадно бросаются на вещи, выброшенные на берег после кораблекрушения. Как в воду глядел...

— Ты отрицаешь научно-техническую революцию? — удивился Иванов.

— Куда ни ступи — везде одни революции. В Иране — социальная, в Швеции — сексуальная. В Италии... Мальчики из красных бригад требуют миллионные выкупы за похищенных. Отрезают заложникам уши и посылают родственникам. Тоже ведь революционеры, черт побери! Нет, я не революционер.

— Кто же ты? Либерал?

— Я консерватор. Отъявленный ретроград. И, представь себе, даже немножко этим горжусь.

Иванов вздохнул:

— Я тоже не прочь бы стать ретроградом. Но меня тут же попрут с работы.

Медведев засмеялся:

— А, теперь понял, почему я сушилки строю?

— Но это ж не по-хозяйски!

— Что? Оставлять корабельные вещи на берегу?

— Да нет! Не по-хозяйски, когда кандидаты наук строят сушилки.

— Согласен! — Медведев ловко и быстро резал хлеб, колбасу и редис, ополаскивал стаканы и наливал в них ряженку из большой стеклянной посудины. — Я знаю, что это преступно. Но что делать? Женя Грузь получал меньше двухсот рублей в месяц. А директор совхоза платит моим ребятам оё-ёй! Лично меня в ареопаг не берут. У меня нет прописки. Да и не в этом, собственно, дело...

— В чем же еще?

—А в том, что едва ли не все наши НИИ... Как бы тебе сказать? Работают сами по себе. Помнишь Твардовского: «Это вроде как машина «скорой помощи» идет, сама режет, сама давит, сама помощь подает». Ты видел эту башню? «Институт по перераспределению стока...» Боже ты мой, «перераспределение стока»! Какое перераспределение? В природе все давно и надежно распределено. Да они просто гонят деньгу, эти злодеи! — Медведев, смеясь, прихлопнул залетевшего комара. — Очередная кормушка...

Ряженка действительно была холодной и вкусной. Иванов вспомнил, что не обедал, не стесняясь, навалился на редиску и колбасу. Некоторое время они ели молча. Медведев с веселым видом говорил о грустных вещах:

— Как ты думаешь, чем объяснить массовое самоубийство китов? По-моему, киты протестуют. Они не хотят жить в отравленных водах. А мы — перераспределение стока...

По-видимому, у него давно не было добросовестных слушателей. Он торопился:

— Останавливать надо не только гонку вооружений, но и гонку промышленности. Техника агрессивна сама по себе. Покоряя космос, мы опустошаем землю. Технический прогресс завораживает обывателя. Все эти теле-,

само-, авто- порождают соблазны чудовищных социальных экспериментов. Насилие над природой выходит из-под нравственного контроля. А человек — часть природы! Следовательно, мы сами готовим себе ловушку! Самоистощение и самоуничтожение... Иными словами: самоубийство. А ведь началось-то все с обычного самохода и самолета, каково, а? — Медведев вскинул бородатую голову. — Безграничное доверие ко всему отчужденно-искусственному. К водопроводной воде, например, к газетной строке. А к лесному ручью и к устному слову — никакого доверия!

— Не у всех, — заметил нарколог.

— Я говорю о завороженном обывателе. Вся Европа и Северная Америка механизированы и автоматизированы так, что дальше некуда. Быт отлажен, как немецкий хронометр. А что станет с этим бытом, когда мы выкачаем из земли остатки нефти и газа? Ты представляешь? Да они все загнутся от холода! Моя хозяйка топит дровами...

— Ты хочешь, чтобы все топили дровами? — ехидно спросил Иванов.

Медведев, разочарованный слушателем, положил вилку:

— Кстати, крестьянская изба, братец, всегда спасала Россию. И если мы погибнем, то отнюдь не от «першингов»... Крестьянская изба — это все равно что зуевская подводная лодка, она всегда в автономном плавании. Одна она и способна на длительное самообеспеченное существование. Причем, заметь, не только во время войны. Потому так яростно и уничтожаются во всем мире крестьянские хижины! Извини, я уже читаю тебе лекцию...

— Насколько я понял, ты перестал быть урбанистом.

— Это потому, что мне жалко Москву. Достаточно одной чумной бактерии, чтобы ополовинить Москву! Человечество идет к самоубийству через свои мегаполисы... Такая концентрация не позволяет создать даже простую систему безопасности, не говоря уже о двойной или тройной. Нет, братец, бункеры не помогут.

...От Москвы разговор перекинулся на провинцию и вновь на политику и торговлю. Но Медведев не пожелал говорить об экономике:

— Дурной шофер то и дело давит на тормоза. А еще ему вечно кажется, что дорога слева намного лучше. И вот он, как Славка Зуев, выезжает на встречную полосу...

Медведев доказывал, что физический труд — это ес-

тественная потребность нормального человека, что нелогично противопоставлять физический труд интеллектуальному, а подразумевает ее:

— С каких пор физические усилия перестали быть интеллектуальными и творческими? Поверь мне, это искусственное разделение! Все наши усилия направлены на то, чтобы перехитрить природу. Мужчины в этом деле обскакали женщин, многие встали на высокие каблуки. Аэробика, поворот рек... Электронная музыка и пластмассовые цветы в ресторане «Москва». Господи...

— Ты ходишь по таким дорогим ресторанам? — подкузьмил Иванов.

— Это оттого, государь мой, что осетрина там пока не пластмассовая. Но часто ли я туда хожу, можно судить по тем же гвоздичкам. Со временем они становятся розовыми, потом совсем белыми. Представляешь? Постирал — и баста! Они опять чистенькие...

— Говорят, Хаммер построил нам Дом торговли, а в доме целый синтетический сад.

— Он всегда отделывался от нас суррогатами. Все в общем-то сводится к правде и лжи, к искренности и тайне. Неискренние борются с искренними, обманывают совестливых. И побеждают. Да еще говорят: вы дураки, а дуракам так, мол, и надо.

— Ты тоже считаешь, что искренность и совестливость равносильны глупости? — глядя на часы, спросил нарколог.

Медведев подзамялся. Сделал дурашливую гримасу и крякнул.

— Говори, говори, — не отступал Иванов.

— В какой-то мере — да! Впрочем, нет. Совсем нет!

— Так да или нет?

— Нет! — Медведев ударил по своему дощатому столу так, что тарелка подпрыгнула.

— И ты считаешь, что можно выжить, будучи искренним?

— И можно, и должно! Более того, дорогой Александр Николаевич, только так, наверное, и можно выжить.

— А какой смысл? Выживать?

— Вечный вопрос русского интеллигента! — засмеялся Медведев.

— Мне жаль всех умерших... — Иванов разглядывал

этикетку «Мускателя»,— особенно умерших насильственно и безвременно...

— Ты знаешь, мне тоже. Почему-то мне особенно жаль Пушкина... Представляешь? Я иногда плачу о Пушкине... В новосибирском Академгородке я видел кость — детскую лопатку с дыркой. Пробита стрелой или копьем. Еще во времена мамонтов. И мне жаль это дитя так же, как Пушкина... Ты, может, переночуешь?

Иванов отказался. Медведев снял с полочки какую-то книгу, раскрыл и написал что-то на титульном листе:

— Возьми, полистаешь, когда будет время.

..Александр Николаевич Иванов ехал с последним электропоездом. Вагоны были совсем пусты. Он раскрыл обернутую в газету книгу и прочитал: «Иван Шмелев. «Праздники, радости, скорби». Дальше шла размашистая медведевская надпись:

Я ПОНИМАЮ СМЕРТЬ КАК ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ БОРЬБЫ МЕЖДУ МОИМ ТЕЛОМ И ДУХОМ. ГАРМОНИЮ ИХ НАЗЫВАЮ ЖИЗНЬЮ...

Саше Иванову на память

«Нет, надо же! — думал нарколог, удивляясь, что ему совсем не хотелось спать.— А почему Медведев ни разу не спросил о своей бывшей жене? О детях тоже ни слова».

Иванов вспомнил своих детей и трех светловолосых, тоненьких, как тростинки, племянниц. Сжимая зубы, вслух промычал фразу, услышанную когда-то от Зуева: «Держава прокормит...»

Нет, Зуев, кажется, говорил не «прокормит», а «заплатит». В глазах и где-то под переносицей копилась сентиментальная тяжесть. Нарколог сделал глотательное движение. Пустая электричка грохоча летела к Москве.

2

Медведев не мог согласиться с тем, что страдания укрепляют и облагораживают людей. Достоевский — увы! — и не устраивал его в этом смысле. Хотя по отношению к Медведеву писатель был совершенно прав... Но он-то, Медведев, не хотел и не мог соглашаться с такой правотой.

Шесть лет заключения и более трех, проведенных вдали от Москвы, сотворили иного Медведева: он не мог без улыбки вспомнить свою прежнюю жизнь. Да, опыт

последних лет действительно сотворил иного Медведева, почти все понимающего и сильного, почти свободного и застрахованного от большинства социальных вирусов. Но что из того? Он, этот опыт, должен принадлежать ему, только ему одному! Медведев не желает такого опыта даже своим врагам...

Он жил в подмосковных сельских местах, не пытаясь вернуть себе право на городскую жилплощадь. Москва, конечно, была нужна. Но он не хотел быть зависимым от нее. Теперь он как бы держал ее под боком, но сам, словно классический импотент, то и дело ускользал из ее жарких объятий.

Крохотная комнатка Жени Грузя была в полном медведевском ведении. За стенкой жила мать Жени — Мария Владимировна. Другой ее сын, женатый, работал в совхозе, жил в казенном каменном доме. История семьи Грузей содержала множество детективных, порой по-настоящему трагических сюжетов. Чего стоил один отъезд шестнадцатилетней Маруси из-под Киева в октябре тридцатого года! А эта трогательная, почти неземная любовь Мартынова к юной Марусе, рожденная в холодных лесах под Тотьмой. Марию Владимировну так до сих пор все и зовут: Маруся. Она рассказывала Медведеву, как они с мужем всю жизнь, вплоть до шестьдесят первого года, продвигались с севера на юг, ближе к своей Украине, как строили мазанки, покупали хибары, избы, продавали их одну за другой, все время понемножку продвигаясь на юг. Ближе к родине...

Москва встала на их пути, когда умер муж и когда старший сын закончил десятилетку. Обойти столицу они не смогли, она уже и тогда была слишком обширной...

Проводив на электричку Александра Николаевича Иванова, Медведев той же тропкой вернулся в деревню. «Неправда, что в Москве не бывает белых ночей», — опять подумалось ему при виде зелени поля, стушеванной сильными сумерками.

Туман поднимался в низинах. Зеленоватое небо мерцало редкими, едва заметными звездочками. Медведев взглянул сначала в сторону сушилки, затем в сторону кладбища. Громко хмыкнул, сжал зубы и зашагал к дому.

В сарайке он зажег настольную лампу и минут пять вылавливал набравшихся комаров. Потом разделся, подставил лампу к изголовью и достал из портфеля бумаги Жени Грузя. (Эти бумаги еще на той неделе передала ему

Маруся, Мария Владимировна.) Сейчас среди институтских конспектов и технических записей Медведев неожиданно обнаружил письмо Жени к младшему брату.

«...нам кажется, что все впереди, — говорилось после обычных приветствий. — Для нашего детства, отчасти для отрочества, подобное ощущение было реальным и справедливым. Но уже в юности оно копило в себе угрозу ошибок и заблуждений. Мы не заметили этих угроз. Едва освободившись от детских пеленок, мы барахтаемся под покровом романтических грез. Мы жили так, словно нам никогда не будет конца. Но наши мечты о будущем, не теряя своих возможностей к реальному воплощению, таили в себе опасность бездействия и ложных путей. За идеализацию нашего будущего и прозвали нас оптимистами. Со всей безоглядностью и верой в справедливость подобной оценки мы ежеминутно отрекались от своего настоящего, то есть от самих себя».

Медведев не на шутку увлекся чтением. Вспомнилось, как Грузь не однажды сочинял шуточные стихи для новогодних стенных газет.

«Годы летели мимо нас, но нам все еще думалось, что все впереди. Не считаешь ли ты, что это смешно? Теперь, когда так много и трудно прожито, когда почти все наши детские мечты превосходно осуществились? Иллюзия, с которой мы не можем расстаться, спасает от краха одних розовых дурачков. И тех, кто может думать, но не хочет этого делать из чувства самосохранения, то есть из трусости. Теперь нам пора отрешиться от всяких иллюзий. В том числе и от той, что все впереди. Конечно, тут легко впасть в другую крайность, решив, что впереди у нас ничего уже нет. Это было бы не меньшей ошибкой. Не думай, что я поучаю тебя, как раньше, как младшего брата. Мы давно сравнялись с тобой. Твой «статус» младшего для меня оскорбителен. Когда я говорю о тебе, значит, говорю о себе. Спрашивая тебя, я спрашиваю себя. Так вот, мне кажется, что все то, что осталось нам во времени, зависит теперь только от нас, и в нашей с тобой власти сделать этот остаток значительней всего предыдущего. Так же, как в нашей власти трусливо и бездарно закончить свой путь, расписаться в несостоятельности. Я знаю, что мы не имеем права на выбор. Велико искушение оставить за собой право на выбор, но мы не имеем права на это право. Считаешь ли ты равноценными и со-

вместимыми понятия жизни и смерти? Я — нет. Однажды в минуту слабости, раздавленный страданиями, я произнес нашей матери жестокие, полные сатанинского эгоизма слова: «Мама, зачем ты меня родила? Я бы не страдал сейчас, если бы меня не было». Она заплакала и сказала что-то, что я, занятый только собой, не запомнил дословно. Кажется, она говорила, что мое рождение тоже от нее не зависело. Очень часто с самонадеянной гордостью я думал, что если не от меня зависело появиться или не появиться на свет, если я не был свободен в этом, то хотя бы право уйти из жизни остается за мной. И никто, мол, не отнимет его от меня...»

Медведев был потрясен буквальным сходством своих мыслей с высказываниями Жени Грузя. Он продолжал читать, не замечая пришедшего утра.

«Но оказалось, что я нахально, эгоистично и гордо присваивал себе эту свободу, свободу в любую минуту прекратить жизнь. Я думал тогда только о себе. Я не замечал того обстоятельства, что если для меня была бы омерзительна и страшна смерть родного и близкого, то и моя смерть для них тоже была бы страшной и омерзительной. Следовательно, тут также нет выбора и все ясно. Мы обязаны жить. Но как? Мне кажется, что для нас нет выбора и в способе жизни. Одна лишь ясность ума, наше мужество и жажда добра помогут нам выстоять среди лжи и страданий. Но прежде надо сбросить с глаз пелену иллюзий. Давай же попробуем отодрать ярлык мнимого оптимизма, который жизнь так коварно приклеила нам! Ведь нам все еще кажется, что все впереди... Сейчас мне хочется хотя бы ненадолго вернуться в прошлое. В то самое, когда нас с тобой еще не было. Туда, под Киев, где мы начались. Вернее, продолжились. Опасность идеализации прошлого тоже есть, но она несоизмерима с идеализацией будущего».

Письмо было не дописано и не отправлено. Дальше обнаружились записи отдельных мыслей: «Украинский гений живет сейчас не в литературе, а в музыке, в народной песне...», «Бесы всегда ругают прошлое и хвалят будущее. Будущее для них вне критики...»

Медведев сложил бумаги. Он не мог спать. Не стихало волнение, вызванное встречей с Сашей Ивановым, похоронами и, наконец, чтением Женькиного архива. Волнение понемногу переходило в тоску, а Медведев не лю-

бил таких состояний. Тоска трансформировалась в нем в жажду каких-то действий, но действий неспокойных, судорожных...

Уже несколько лет он жил в том новом для себя состоянии, когда ум, оскорбленный и приниженный неизбежностью смерти, перестал задавать вопросы, на которые — Медведев знал это — никогда не будет ответа. Уважение к великим человеческим тайнам стало нормальным медведевским состоянием. Оно избавило от изнуряющих дум и о бессмысленности существования. Для Медведева стало личным открытием то, что гордая ненасытность голого рационалистического ума, казалось бы, призванная служить свободе, парадоксальным образом закрепощала еще больше, а не определенное сердечное чувство, на первый взгляд примитивное и ограничивающее, наоборот, расковывало, и расширяло возможности, в том числе и для того же ума.

Правда, по-прежнему не было ни одного дня, чтобы Медведев не думал о смерти. Он не боялся ее для себя (по крайней мере, ему так представлялось), но он с отвращением и ужасом думал о смерти близких. Особенно омерзительной была возможность случайной, преждевременной смерти самых дорогих для него существ — его детей... Рычащие самосвалы на московских улицах вызывали в нем ненависть, когда он вспоминал, что его сыну нужно трижды переходить улицу для того, чтобы попасть в школу. Иногда ему снились страшные, кошмарные сны, в которых случалось как раз то, чего наяву он больше всего и страшился. И тогда в голову приходила эгоистическая мысль о том, как было бы хорошо умереть первому. Но за этой мыслью неминуемо возникал вопрос: почему же ты думаешь, что для других твоя личная смерть не так же страшна? Подобно Жене Грузю, Медведев давно понял, что человек живет отнюдь не ради себя...

Он знал еще, что все эти годы и даже дни были пропитаны тоскою по дочке. Отцовское чувство, усиленное за счет всех других, спасало, жгло, радовало и заставляло действовать. Но с годами оно потихоньку теряло способность к самосохранению. Медведеву ясно виделось это. Если б Вера написала ему хотя бы разок за все его шесть лет заключения! Если б он мог представить ее подростком, а не шестилетней девочкой. Но он не мог даже приблизительно выявить зрительный образ дочери. О рождении сына он узнал из письма Славки Зуева. То письмо

взволновало и обрадовало его, обрадовало не меньше, чем известие о досрочном освобождении. Правда, это волнение было отравлено ядом ревности. Мысль о том, что сын не его, казалась Медведеву совершенно нелепой. Но ведь она ж была, эта мысль! И куда было от нее деться, если она уже существовала, эта жуткая мысль? Не в этом ли свойство всех дьявольских явлений и наваждений: родиться из ничего, просто так, а потом жить и здравствовать? И занимать все более прочные позиции, превращаясь уже в реальное зло? Ведь он, Медведев, и до сих пор совершенно уверен в Любиной верности. Ах, уверен ли? Она не выдержала грозного испытания. Беда обрушилась на семью вместе с вспышкой короткого замыкания, которое убило Женю Грузя. Или еще раньше? Не может быть...

«Ну хорошо, — Медведев погасил свет. — А почему тогда по сей день волнует тебя ее поездка во Францию? И к теме порнографических фильмов ты тоже неравнодушен... До сих пор...»

Он твердо знал, что теперь Люба существовала для него только постольку, поскольку существовало прошлое. Она была, и ее нет сейчас для него. И никогда больше не будет. Она уже не Люба.

— Да, но кто же она? — вслух произнес Медведев, и кровать жалобно заскрипела своими допотопными суставами и пружинками.

«Кто? Да, она не Люба Медведева. Уже давно она Любовь Викторовна Бриш. И твои дети Вера и Ромка тоже ведь не Медведевы. Вера Бриш...» Ничего себе! Ну, нет. Уж этого-то он не допустит...

Медведев спрыгнул с постели, раскрыл сарайку. Было утро, солнце всходило. Петух Марии Владимировны, словно стыдясь, что его опередили, торопливо пропел в своем закутке. Комары на рассвете были особенно ядовиты. Медведев несколько раз повторил упражнения, придуманные им самим. (Надо было через левый бок сзади увидеть мизинец правой ноги, а через правый — мизинец левой.) Солнце еще не взошло окончательно. Поселок спал. Дощатый туалет в садике Марии Владимировны каждое утро напоминал о недавнем прошлом.

Медведев не мог забыть давнишний — там, в заключении, — спор, разгоревшийся словно костер от маленького беспомощного огонька, может быть, даже мимолетной искорки. Начитанный, не утративший светского лос-

ка интеллектуал, осужденный за какие-то валютно-финансовые аферы, вышел оттуда намного раньше Медведева. Знакомство их было очень коротким. Но уверенный и надменный голос для внутреннего слуха Медведева звучал явственно спустя даже несколько лет: «Равенство? Его никогда не будет. Природа наделила людей разными полномочиями... Одни всегда будут убирать свое и чужое дерьмо, причем вручную. Другие — моделировать их поведение». Медведев сказал: «Твое дерьмо я не уберу. Ты уберешь его сам, дорогой!» Тогда он захохотал: «Именно потому ты и не будешь убирать, что ты, как и я, из другого племени!»

С тех пор Медведев непрестанно думал об этом. Было ли это при виде больничной или магазинной уборщицы или при виде посудомойки, собирающей остатки еды в какое-то отвратительно воняющее ведро, но он, Медведев, всегда вспоминал тот давний спор. Что ж, неужели в мире действительно существует категория прокаженных, обязанных вечно делать за других грязную, неприятную, отвратительную работу? Например, очищать писсуары от посиневших разбухших окурков или выгребать содержимое мусорных ящиков с плевками, живыми крысами, убирать с асфальта кровавое месиво раздавленного под колесами животного, стирать чужое белье, подбирать ватные тампоны в пляжных будках, одевать покойников? Ведь делает же кто-то все это! Делает ежеминутно, постоянно, за тебя и того мерзавца. «Что ж, — думал Медведев, — выходит, ты ничем не лучше его, ты тоже пижон и мерзавец...»

Сегодня он вдруг не выдержал этих раздумий, вскочил и дважды обошел дощатую обшивку уборной. Потом дождался, когда Маруся уехала зачем-то в Москву, нашел старое ведро, легкий удобный шест, сделал из них подобие черпака и... отколотил доски, прикрывающие сзади колодец уборной. Отвратительнейшая вонь от гущи экскрементов, кишащей белыми червячками, только разозлила Медведева. Он сбросил одежду, остался в одних трусах, облачился в какое-то старье и начал с яростью копать рядом с прежним заполненным углублением.

Прошло около двух часов. Выкопав глубже чем на полтора метра, он вылез наверх и начал пробивать перемычку лопатой. Затем он перепустил зловонное густое месиво в новую яму, после чего забросал ее землей. Черпак так и не потребовался....

Он присел на этот перевернутый черпак невдалеке от места сражения — усталый, изнемогший и потный: с души как бы обваливалась, спадала незамечаемая до этого тяжесть.

«Да, но ты же не будешь делать это всегда, — услышал он издевательский голос того интеллектуала. — Ведь ты сделал это только для собственного самоутверждения. А делать это всегда ты ведь не станешь...» — «Всегда? Почему же всегда? Не всегда, а когда нужно. Каждый раз...»

Голос исчез. Медведев усмехнулся и вдруг подумал: «А ведь он только того и ждет, чтобы я делал это в с е г д а. За него и за всех пижонов, таких, как он. Всегда, всегда! И чтобы больше-то я ничего и не делал. Для того он и втянул меня в этот спор... Но дудки-с! Да, я уберу за собой, но успею сделать еще кое-что... Всё впереди!»

Медведев зажег газовую горелку нагревателя, устроил себе горячий душ, а в старомодном фанерном гардеробе решил потревожить новый костюм. Нерешительность по поводу галстука длилась недолго: сегодня он должен выглядеть респектабельным.

После всего этого он написал записку:

«Витя! Постарайся найти кран. Во второй половине дня я приеду. Срочное дело в городе».

Медведев бельевой защепкой над самой калиткой пришпилил листок к ветке березы. Ребята жили недалеко, ходили к сушилке мимо. Увидят обязательно, а если не увидят, то увидит Мария Владимировна и передаст.

Электричку в Москву ему пришлось ждать довольно долго, почему-то они одна за другой проносились мимо.

Бессонная ночь опьянила Медведева. Веселый и взбудораженный, он чувствовал, что на этот раз, сегодня, сделает то, что не мог сделать вот уже несколько месяцев. Телефоны Иванова, рабочий и домашний, его сестры Вали и Зуева записаны. Но он не желал напоминать о себе так часто, Иванов отпадал. Валя? Валя только что стала вдовой. Не дай бог, будет искать скрытый смысл и поймет на свой дамский лад. Вчера он даже не показался ей на глаза... Зуев сам живет в Подмосковье, звонить надо с переговорного.

Кого же попросить, чтобы выяснили, где сейчас Вера? Наталья... Нет, это также отпадало. Да и где искать эту Наталью?

Улицы были перекрыты во многих местах. Москва

готовилась встречать очередного важного гостя, и таксист матюгнулся, объезжая центр окольным путем:

— Везде либо кирпич, либо заслон! Не знаешь, куда ехать.

— Не Москва, а проходной двор, так? — лукаво произнес Медведев.

Таксист не уловил иронии:

— Хуже! Едут сюда все, кому не лень. На вокзалах одни мешки. К обеду ничего в магазинах не купишь. Вот когда Олимпиада была — милое дело. Никого не пускали.

Медведев попросил пристроиться около телефонных будок.

Таксист заворчал что-то насчет времени.

— Старина, ну что ты стонешь? — Медведев расплатился и отсалютовал. Но таксист не уехал.

«А что, — думал Медведев, шаря по карманам в поисках двушки. — Того и гляди Москва станет этаким вольным городом. По типу Западного Берлина. Тогда-то уж она совсем не поверит своим слезам...»

О, нет! Она была дорога ему как мать, и хотя ревность иногда просто жгла сердце, и стыд мог в любую минуту в самом неподходящем месте опалить лицо, он все равно бесконечно любил этот город. Все ушибы и вывихи, полученные по ее милости, заживляла она же, его родная Москва, все его радости были связаны с ней — щедрой и бездумно-великодушной! И что же винить ее, станешь ли сетовать на ее неразборчивость, скажешь ли в ее осуждение хотя бы единое слово? Мать есть мать, какова бы она ни была... Но Медведев ловил себя не только на одной снисходительности: временами он чуял в себе освежающее и вдохновляющее на жизнь чувство гордости. Почему-то он слегка стеснялся этого чувства.

«И то сказать, что и за сын, ежели хвалит свою мать и там и сям? — издевательски думал Медведев кое о ком из исторических москвичей. — И люблю, да никому не скажу, лучше обматерю ее на глазах у Европы...» От оценки собственного отношения к Москве он уклонялся. Любовь к Москве жила в нем неосознанной, как-то подспудно, жила всегда, и в этом смысле не существовало для Медведева трех категорий времени: прошлого, настоящего, будущего. «Что за чушь? — говорил он. — Разве все это не одно и то же? Конечно, звенели когда-то сорок сороков, теперь молчат, и пахнет гарью тысяч автомобилей. Но Москва все равно Москва».

Да, Москва была для него все равно Москвой — сожженная много раз, много раз разворованная, не покоренная силой оружия (а как там насчет иных способов?), дорогая и не верящая сыновьим слезам. Что ж, не будем и плакать...

Он не слушал красноречивое безмолвие тысячелетних камней. Родство с этими перестроенными посадами, с этими причудливыми фасадами и по-домашнему уютными переулками не чувствовалось. Вот так же здоровый человек не чувствует чистоты здорового воздуха.

Мир не существовал без Ивана Федорова со свитком в руке, без этой улицы, где стояла когда-то федоровская печатня и та самая академия, которая пестовала могучий ум поморского рыбака. А Николай Васильевич Гоголь с его птичьим носом, сидящий во дворе на Никитском, рядом с окнами, за которыми умер? Говорят, что он сжег перед смертью свою рукопись, но кто доказал, что рукопись сожжена? Москва сберегает великое множество своих тайн. Только нет тайны в Пушкине, которому тоже не позволено было стоять на своем месте. А как много своих верных сынов оставляла Москва в забвении, торопясь увековечить память тех, кто рожден был в других столицах, вскормлен в иных землях! И как прихотливы дороги истории!

Медведев не мог спокойно ступать от здания Моссовета вниз к театру Ермоловой. Да и в каком же московском сердце не вскипает недоуменная горечь при виде этой серой коробки, так нахально заслонившей панораму Кремля? Уж лучше пройти снизу вверх. Говорят, что гранитные глыбы, уложенные в цоколь следующего за телеграфом здания, были припасены Гитлером для памятника в честь падения российской столицы. Но Москва не сдавалась врагам даже и после собственного падения. От порохового взрыва, сделанного другим, не менее крупным бесом, лишь слегка вздрогнула золотая глава Ивана Великого.

Теперь Медведеву частенько вспоминались грибоедовские слова:

...Что там ни говори, а с головы до пяток
На всех московских есть особый отпечаток.

Он ощущал этот отпечаток даже в девчонках, одетых чуть не сплошь в привозные джинсовые и вельветовые

штаны, в кожаные монгольские и венгерские пиджачишки, а уж что говорить про этих московских, толстеющих на углеводном питании теток! И эти юноши, «томимые духовной жаждой», читающие в метро и в троллейбусе, — все еще не растворились они среди пропахших алкоголем и табаком, среди нахальных и громких. Нет, он любил их, вместе с их вечной мечтой об университете, любил вместе с этим университетом и с этим дымным от газов Садовым кольцом, с этими подземными лабиринтами. Особенно любил он «Арбатскую» станцию, с ее веселым, бесконечным, округлым тоннелем, украшенным рядами бронзовых светильников, напоминающих старинные канделябры. А еще любил Медведев осеннюю пронизывающую зелень подмосковных полей, и такое же пронизывающее бирюзовое осеннее небо, и тишину, и умиротворенный запах осенних костров... А как неподражаем шорох и особенно запах дождя под Москвой! Дождь этот пахнет рекой и едва ли не рыбой, свежей серебряной рыбкой, только что пойманной на крючок, с холодным трепетом засыпающей в твоей теплой ладони...

Двушки в карманах не завалялось ни одной. Медведев вспомнил, что московские автоматы не брезгуют и гривенниками. Купил в киоске газету, для того чтобы появилась мелочь.

Он смело пошел на риск и набрал номер Бриша. Сердце сильно забилось. Оно просто бухало в ребра. Гудки прекратились сразу, трубку сняли. «Алё?» — Медведев услышал почти еще детский, но уже и не совсем детский голос, нежный голос, полный какого-то то ли ожидания, то ли недоумения. Медведев не сомневался: ответила его дочь. Он заставил себя говорить спокойно:

— Здравствуйте. Квартира Любови Викторовны?

— Да.

— А вы? Вера, ее дочь?

— Да.

— Говорит один мамин знакомый. Ты одна дома? Где мама?

— Она на работе, — голосок был ровный и, как показалось Медведеву, сиротский.

Жалость и новорожденная обида не давали дышать. Он спросил:

— Ты будешь с мамой дома? Сегодня, в середине дня?

— Нет. Я поеду на дачу.

Его нелепое «спасибо» было таким же нелепым, как «до свидания». По крайней мере, так ему показалось. Но он ликовал. Он даже погладил телефонную трубку, нагретую ухом. Погладил, словно живую. Оглянулся на будку с поломанным боковым стеклом, и таксистская «Волга» присела на левое заднее колесо под пятипудовым ликующим медведевским естеством.

— Шеф! Я не знаю, куда ехать. Шпарьте прямо, придумаем на ходу!

Таксист не очень охотно включил скорость, но все же освободил педаль от левого башмака...

Москва разворачивала свои улицы. Медведев не сразу сообразил, что они мчались по Кутузовскому. Триумфальная арка в честь победы над Наполеоном привела его в восторг, но таксист не разделил радостного состояния своего пассажира. Тогда Медведев попросил развернуться и покинул такси на остановке, перед мостом. По ту сторону улицы синие небеса над Москвой были проколоты светло-серыми пятнистыми башнями гостиницы «Украина». На том берегу Москвы-реки скромно белел российский Совмин. Справа от остановки такси громоздилось, тоже пятнистое, многоэтажное здание. Здесь — Медведев давно это знал — жили многочисленные ходатаи мятежного академика. «Протопоп Аввакум, да и только!» — мельком подумал Медведев, но политика явно не интересовала его сегодня.

Он провел в городе несколько совершенно сумбурных часов и во второй половине дня приехал в Пахру.

Весна нынче была длинна и прекрасна. Но лето все равно явилось в Подмосковье раньше обычного. В лесу уже отцвели зеленовато-белые ландыши, вот-вот должен был распуститься шиповник. Кремовые соцветья рябины тоже темнели. Опадали лепестки отцветающих яблонь.

У Медведева не было никакого определенного плана. Никаких готовых фраз, заготавливаемых в таких случаях заранее, тоже не было, была лишь одна решимость увидеть наконец сына и дочь.

Он с трудом узнал дачу покойной Зинаиды Витальевны. Крыша, окрашенная зеленой краской, венчалась новомодной телеантенной. Забор стал выше. Плотник и сейчас продолжал работу, он не оглянулся. Дорожка к дому была тщательно заасфальтирована. Кнопка звонка у калитки вызвала у Медведева язвительную усмешку: «А

почему нет собаки? По всем данным, Бриш должен был завести какого-нибудь сеттера или бульдога».

И тут Медведев вдруг повернулся и пошел прочь, охваченный приливом какой-то странной гадливости. Он с полчаса проплутал мёжду заборами, сходил на окраину и, чувствуя приближение опасного раздвоения, опять подошел к воротам, решительно надавил на кнопку. Звонок либо не действовал, либо никого не было. Но это же из дома звучала музыка. Кто-то играл на фортепьяно, и Медведев вновь позвонил. Никто не вышел. Тогда он решительно открыл калитку, прошагал по дорожке и вошел в дом. Ступени и пол в прихожей, застеленный паласным ковром, были тоже новыми и ничуть не скрипели. Медведев остановился, прислушался. Теперь он вспомнил Шопена и понял, что звучал Одиннадцатый полонез соль минор. Неужели Вера, его дочь, играет такие сложные пьесы... Боже мой.

Он сделал еще шаг и увидел дочь, играющую на пианино. Она сидела вполоборота. Она не замечала его, увлеченная и старательная. Каждый раз, дойдя до одного места, она сбивалась, кусала губы и упрямо начинала сначала...

Медведев смотрел на нее и узнавал все ее прежние, детские, но обогащенные возрастом особенности: движение головы, прикусывание нижней губы и даже манеру сердиться. Он не замечал того, что она стала меньше похожей на Любу, но зато уловил в ее терпеливых движениях собственное упрямство. Она вновь и вновь пыталась пересилить свое неумение. «Не надо! — хотелось ему крикнуть. — Не надо, миленькая! Не останавливайся, пропусти и продолжай играть дальше. Пропусти, прости себе эту ошибку, играй дальше! Дальше, а потом освоишь и трудное место...»

Она почувствовала чье-то присутствие и остановила игру. Оглянулась, встала с крутящегося сиденья. Чужой бородатый человек, прислонившись к дверному косяку, глядел на нее сквозь слезы. Она удивилась: почему же она не испугалась его?

— Вера... — он поперхнулся. — Ты не узнаешь меня?

Она пока не узнавала отца. Но не узнавала она умом, сердце же, а может, и кровь ее знали уже, что никакой он не чужой.

— Папа, это ты, да? — тихо произнесла она.

Лицо ее дрогнуло и просияло, потом мелькнула

краткая болезненная гримаса, та самая, что так искажала ее еще в детстве, во время плача, и которая всегда так пугала и опустошала Медведева. Он и теперь не выносил детского плача и детского горя. А тогда... Помнится, если ей делали укол, он просто убегал из дома.

Он шагнул к выросшей дочери, осторожно взял в ладони ее голову, поцеловал в висок, потом отстранился, вытянул руки, разжал кулачищи и повернул вверх ладонями:

— А ну, покажи свои.

Она с детской готовностью, улыбаясь, положила свои маленькие нежные руки в его широкие мозолистые ладони.

— Как думаешь, а я смог бы играть Шопена? — спросил он, мигая, чтобы слезы не выкатились наружу. — Я тоже играл, когда... Когда ты была маленькая.

— Я помню, — сказала она еле слышно.

— Нет, серьезно? Неужели помнишь? А может, мы выйдем, погуляем немного? — говорил он, спеша, не веря в реальность происходящего. — Где мама? Надеюсь, ты любишь Ромку. А как дела с математикой? Ты не очень с нею в ладах, ведь так?

Он за руку вывел ее на крыльцо, и она шла, не отнимая руки, а он сыпал и сыпал вопросы.

Он и не ждал от нее ответов на все эти вопросы, он был слишком счастлив, чтобы узнавать что-то еще. Он просто говорил и говорил, ощущая ее доверчивость, и ничего больше ему не нужно было, потому что и так у него было слишком много.

Однако уже на улице он почуял, что ее детская доверчивость начала исчезать, в ее синих глазах блеснула взрослая деловитость. Вера насторожилась и напряглась. Они остановились. Он выпустил ее руку и спросил:

— Ты хочешь со мной видеться?

— Да.

Теперь она стояла с опущенными ресницами, и он не видел выражения ее глаз.

— А как ты относишься к Михаилу Георгиевичу?

— Хорошо.

— А он к тебе?

— Тоже.

В ее односложных ответах проступал подростковый максимализм, но Медведев уже слышал и едва заметные нотки вызова. И понял, что надо закончить встречу. Он

понял, что для нее много и того, что было, слишком уж много. Пусть она хотя бы привыкнет к мысли, что через столько лет увидела живого отца.

— Вот мой телефон, — он записал номер на чистом листке записной книжки, выдрал листок и подал дочери. — Я не хотел бы встречаться с мамой.

— Почему? — Она блеснула глазами, и теперь в голосе звучала уже ирония, ничуть ею не скрываемая.

— Я не знаю, захочет ли видеть меня она! — твердо сказал он. — Иди.

...До самого угла дачной линии он боялся обернуться назад, а когда оглянулся, калитку уже заслонили кусты и деревья. Он почувствовал физическую боль где-то под левой лопаткой. В его памяти мелькнула и ясно проявилась горькая насмешливость, неестественная для такого возраста ирония, с какой было сказано это короткое «почему?». Одновременно и, пожалуй, навязчиво все звучали два удивительных по красоте такта, после которых Вера каждый раз путалась, играя Одиннадцатый шопеновский полонез.

Нет, он не почувствовал облегчения после встречи с дочерью. Мысли, одна другой загадочнее, чувства, одно другого новее, тревожнее и печальнее, роились в его сознании. Но вопреки этому он ощущал себя сильнее и многозначительней.

Не заезжая в Москву, он в тот же день со многими автобусными пересадками вернулся в совхоз.

3

Люба Бриш с детьми и мужем жила в обширной квартире, обставленной двумя гарнитурами. Сложный и долгий обмен медведевской и бришевской жилплощадей завершился весьма удачно: это было лет пять или шесть назад.

Люба не считала года. Она просто боялась считать. Мать Зинаида Витальевна умерла как раз в ту пору, когда Слава Зуев покалечился на машине. Люба не любила вспоминать те кошмарные времена. Как хорошо, что теперь-то все это давно позади! А что впереди? Она спряталась от своего возраста, всерьез считала себя совсем молодой. Почти девчонкой, и только. Иногда, осмыслив свой возраст, она ужасалась и от страха снова впадала в иллюзию.

Конечно, годы бегут... Вон и Ромушка уже во втором классе, а дочка совсем взрослая: сегодня ей торжественно вручат паспорт. Правда, в последние дни с девочкой происходит что-то совсем непонятное. То грубит, то ласкается. Миша говорит: «Успокойся, это переходный возраст». А что значит переходный? Однажды Люба не сдержалась и накричала на дочь. От этого Вера неожиданно разрыдалась, начала собираться куда-то, надевать плащик. Тогда расплакалась и сама Люба, а глядя на них, заплакал и Ромка. Все трое ревели, когда приехал Миша. Он быстро всех примирил и всех успокоил.

Что бы она делала без него? Вот и сегодня он бросил свои дела на работе, уехал на дочкино торжество.

Люба отстранилась от зеркала. Надо было собрать стол и встретить Ромку да еще успеть переодеться и хоть немного сделать прическу.

С хозяйственной сумкой она сходила вначале в овощной, затем в винный, купила минеральной воды и две бутылки шампанского. Кондитерский на сегодня отпадал: Миша позаботился о каком-то совершенно фантастическом торте. Всё, кажется, всё!

Всё, да не всё. Люба Бриш с наивностью ребенка иногда подменяла понятия, подставляла вместо одного (недоступного, или непонятного, или непосильного) нечто другое — доступное, понятное и посильное. Передумав обо всех грозящих ей неприятностях, она считала, что от них она избавилась. Но ее тревожило что-то еще. И вот ей казалось, что если она купит еще что-то, что она забыла купить, то и тревога исчезнет. Но куплено было исключительно все необходимое; сумка была полна, а какой-то червь все-таки шевелился и точил Любино сердце. Ей снова волей-неволей пришлось вспоминать один дачный недавний случай.

Дяденька, который делал новый забор, был очень смешной. Поэтому Ромочка и подружился с ним в первый же день. Мальчик смотрел то на молоток, то на топорик, мелькавшие перед ним. Приходилось даже поворачивать голову. Работал дяденька очень быстро, но говорил еще быстрее:

— Рэмэнэ тэбжэбэ пэслдн звнк?

Ромка ничего не понял и глядел с открытым ртом. Вера была как бы переводчицей, она понимала дяденьку лучше.

— У тебя уже был последний звонок? — повторила она вопрос дяденьки.

— Был! — радостно ответил Ромка.

— Знэчтэ тэпр вэтпск, — опять сказал дяденька, но Ромка опять ничего не понял.

— Скэлктэбл? — спросил дяденька.

Ромка молчал, и Вере снова пришлось объяснять:

— Он спросил: сколько тебе лет?

— А, — сказал Ромка и сказал сколько.

— А твэсэствер?

— Шестнадцать! — восторженно заорал Ромка, хотя и не любил этот вечный вопрос о годах. Однажды, когда он был совсем маленьким, его спросили, сколько лет сестре, он сердито ответил: «Она мне еще не говорила». — Шестнадцать! Шестнадцать! — орал Ромка от радости, что расшифровал тарабарский язык дяденьки, который делал забор. В это время другой дяденька вышел из соседней дачи и сел на крыльце.

— Никэлэтэбэлэшь? — громко спросил плотник и ушел на ту сторону разговаривать.

День был жаркий. Ромка думал, что бы значило это «Никэлэтэбэлэшь», но ни до чего не мог додуматься, пока Вера шепотком на ухо не растолковала ему:

— Он спрашивает: «Николай, ты болеешь?»

— А-а! — протянул Ромка и поймал комара. Он хотел съесть комара и положил его в рот.

— Сейчас же выплюнь! — заругалась сестра. — Ты что, лягушонок? Это одни лягушонки едят комаров.

Ромка, не желая быть лягушонком, начал выплевывать комара, но тот куда-то исчез.

Люба в это время позвала детей, дала им денег и послала купить мороженое.

— Нэкэлэ-тэбэлэш! Нэкэлэ-тэбэлэш! — закричал Ромка и выбежал за калитку.

— Что он тараторит? — спросила Люба у дочери.

— Мамочка, расскажу потом! — смеясь, крикнула Вера и выбежала следом за Ромкой.

Люба разложилась было со стиркой, но тут настырно задребезжал входной звонок. Кто-то нетерпеливо давил на кнопку. Люба отодвинула занавеску в кухне, посмотрела и ужаснулась: пьяная Наталья объяснялась у калитки с плотником, держась за его рукав.

Люба просто не знала, что делать. Муж запретил не только пускать, но даже говорить с Натальей по телефо-

ну. Вид у нее ужасный, вот-вот придут дети. Пока Наталья любезничала с плотником, Люба лихорадочно думала, как быть. «Не пускать, — мелькнуло вдруг в голове. Она была рада своей внезапно пришедшей решительности. — Не пускать, да и всё! Еще в таком виде...» Любе хотелось распалить в себе гнев, но гнева почему-то не было, только жалость и стыд. Наталья продолжала болтать с плотником, не забывая давить на кнопку.

— Они все дома! Так? А если не откроют, я полезу через твои заборы! — она хрипло захохотала — Алё!

— Вэдэмэ нэкэвэнэ, — проговорил плотник.

— Чего, никого нет! Что ты мне мозги-то пудришь? Ты пилишь, так и пили. Любка! Он что у тебя, заместо собаки?

Тут плотник, наверное, не сдержался и сделал что-то, может, оттолкнул ее, может, выругался, Люба не видела. Она боялась глянуть в окно, она сжалась, пытаясь не слушать нецензурную брань. Наталья орала на всю Пахру:

— Ты хоть знаешь, дурак, кому забор-то? Доктору! Он доктор наук, а пихает меня в дурдом! Я его самого в дурдом! Он сам алкаш хуже меня! Я ему покажу принудлеченье!

Люба, набравшись духа, вновь осторожно взглянула в окно. Плотник, смеясь и широко раздвигая руки, выпроваживал Наталью на улицу, отстраняя ее все дальше от дома.

— Во-во! — кричала Наталья. — Уж и своих вышибал завели! Испугались? Заборы делают! Меня в дурдом? А вот, Мишенька, фигоньки тебе! Фигоньки не хочешь ли? А ты, Любочка, ты-то! На порог меня не пустила. Ладно... И чего это ты передо мной-то нос задрала? Подумаешь, я тоже спала с твоим долговязым! Я ему такой дурдом покажу...

Какой ужас! Наталья с этой своей страшной сумкой (в сумке, наверное, была недопитая бутылка) так сейчас и мерещилась. Платье, в каких-то пятнах, висело на один бок, — Люба особенно это запомнила. О каком это дурдоме она кричала? Бедный Славка. А когда вспоминалась самая гнусная, словно бы приснившаяся Натальина фраза, Любу бросало в жар от стыда и негодования. Сейчас она даже остановилась на тротуаре.

Школа, где учился Ромушка, была рядом, но в Моск-

ве всегда что-нибудь строится, везде перерыто, многие места не заасфальтированы. Пришлось обходить какую-то вновь вырытую траншею. Люба подошла как раз вовремя. Уроки в младших классах только что кончились, из вестибюля один за другим, словно шмели, вылетели ребята. Девочки выходили чинно, обычно по двое, а вот эти выскакивали словно настеганные, махали ранцами, пищали, демонстрировали беспомощные, но от этого еще более неприятные приемчики каратэ.

Она узнала сына издалека, по характерной, чисто медведевской коренастой фигурке. Он тащил свой тяжелый ранец, набитый всякими уравнениями. (Да, да, второй класс — и уже уравнения, и все эти странные, непонятные знаки. Миша высмеивал ее всегдашнее недоверие к математике. Но разве можно мучить в с е х детей тем, что непонятно даже множеству взрослых?)

Она удержалась, не побежала навстречу сыну. Ромка увидел мать и заспешил, рубашка выбилась из-под форменной курточки. Большие медведевские уши торчали, ах ты, господи... Она схватила мальчишку за руку.

«Мышкин-Бришкин, смотри! — услышала она. — Мышкин-Бришкин».

Школьники обгоняли их, на ходу показывали свои мальчишечьи фокусы.

— Это тебя так дразнят? — спросила Люба.

— Нет, мама, они не дразнят, — серьезно сказал мальчик.

— Но ведь твоя фамилия Бриш, правда?

— Ну и что? Мы всех н е т а к называем.

«Как это — не так?» — опять хотела спросить Люба, но передумала, хотя неприятное ощущение осталось. Она решила сегодня же позвонить классной руководительнице.

Дома, на пятом этаже, в светлой, солнечной, оклеенной финскими обоями квартире, к ней вернулось прежнее радостное и праздничное настроение. Она отправила Ромку заниматься чем ему хочется и начала накрывать на стол.

«Значит, придут две девочки и три мальчика, — снова, улыбаясь, припомнила она. — Как это странно... Впрочем, что тут странного? Вспомни-ка себя в десятом, нет, даже в девятом классе, вспомни...»

Мелодичный звон у входа прервал размышления. Целая орава школьников, замыкаемая высокой фигурой

мужа, заполнила коридор. Люба давно знала их всех. Вера, прямо от дверей дирижируя бордовой с золотом книжечкой, наполовину шутя, наполовину всерьез, громко начала декламировать:

— «Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтенья нету, ко всем чертям с матерями катись любая бумажка, но эту...»

— Веруська, ты чего материшься? — сказал Михаил Георгиевич и распахнул для ребят двери в гостиную.

Но Вера не унималась:

— «...на польский глядят, как в афишу коза, на польский выпяливают глаза...»

— Ну, а это совсем уж несовременно, — засмеялся Бриш.

И тут его окружили и с возгласами, не дожидаясь ответа, завалили вопросами:

— Почему, дядя Миша?

— Это же великий пролетарский поэт!

— Как говорит другой, не менее великий товарищ.

— Тихо вы! Разные прочие шведы.

— Папа, а ты разве разлюбил Маяковского? — звонко спросила Вера, когда остальные слегка поутихли.

— Да нет, — отбивался Михаил Георгиевич. — Просто я уже не в том возрасте.

Люба глядела на всю эту ораву сквозь слезы и втайне от себя любовалась Верой. Неужели эта красивая блондиночка, знакомая уже и с косметикой, правда только с черно-белой, неужели эта девушка, почти женщина, ее дочь? Непостижимо... Да, но который из мальчиков...

— Люба, поздравь чадо с достижением совершеннолетия! — сказал Михаил Георгиевич, открывая шампанское. — И накорми этих флибустьеров. Они голодны. Что, нет? Вон у Ромки уже давно слюнки текут. Ну-с, как? С шумом открывать или без?

— Дядя Миша, пальнуть!

— С шумом!

Пробка ударила в потолок. Бриш разлил шампанское в восемь бокалов. Ромке налили минеральной, он старательно чокался, пытаясь не пропустить никого.

— А что значит совершеннолетие? — задумчиво произнесла одна, самая молчаливая, когда сделали по глотку и затихли.

— Это значит — можно выходить замуж, — трескучим, ломающимся голосом сказал один из ребят.

Все засмеялись. Но оказалось, что замуж в Москве можно только с восемнадцати.

— Какая жалость, — притворно сказала Вера, но получилось так натурально, что все засмеялись еще гуще.

— А правда, что в среднеазиатских республиках с шестнадцати?

— Ура, едем в Таджикистан!

— Обормот! Получи сначала аттестат зрелости! — голос был тоже ломающийся, но уже близкий к басу.

— Я что, незрелый?

— Ребята, сейчас Вера сыграет нам!

— Дай сперва пожрать человеку.

— Ты — человек?

— Да! И звучу гордо!

...На кухне Люба уткнулась носом в предплечье мужа.

— Ну, ну, успокойся, — сказал он. — Если дочь становится взрослой, это не значит, что родители выходят в тираж.

— Ты что, уезжаешь?

— Машина ждет. У меня очень важное совещание. Извини.

— Лучше бы ты остался.

— А ты хочешь, чтобы твой супружник вышел в лауреаты? Тогда терпи.

Он поцеловал ее в щеку, взял «дипломат» и тихонько прошел через коридор. Люба проводила его до площадки. Он сказал:

— Не разгоняй их. Пусть ребята повеселятся.

— Завтра у всех занятия... — возразила она и хотела сказать что-то еще, но поперхнулась и прикусила губу.

На площадке стояла... Наталья Зуева.

— Здрасте, — басом произнесла новая гостья и закашлялась.

Михаил Георгиевич переложил «дипломат» в другую руку. Казалось, он хотел силой выпроводить Наталью.

— Я же просил тебя никогда больше не приходить сюда! — громко и раздраженно сказал он. — Никогда!

Люба вышла на площадку и прикрыла дверь. Умоляющим взглядом она приостановила бешеное раздражение мужа. Он прищурился, пытаясь вернуть себе обычное для него состояние — состояние насмешливого спокойствия.

— А я к тебе, что ли? — раздался сиплый, прокуренный бас Натальи. — Да к тебе я и сто лет не приду!

Бриш поглядел на часы, потом очень выразительно на жену:

— Жаль, что у меня нет времени...

Он не стал дожидаться лифта. Быстро сбежал вниз.

Наталья вначале расхохоталась ему вслед. Только после этого обернулась к Любе:

— А ты? Тоже не хочешь меня на глаза пускать?

— Нет, ну что ты... — растерялась Люба. — Заходи.

Наталья прошла в дверь. От нее пахло водкой и табаком. Обрюзгшее лицо было небрежно запудрено. Дорогая, но давно не чищенная бордовая юбка еле висела на бедрах. Но особенно отвратительно выглядела хозяйственная сумка, из которой торчали три несвежих розовых гладиолуса.

— Уйду, уйду, вот только Веру поздравлю, — говорила она и не сопротивлялась, когда Люба подталкивала ее в сторону кухни. — Брезгуешь? Эх, Любка! Культурная стала!

Она вытащила из сумки наполовину опорожненную водочную бутылку.

— Наташа, только не пей, пожалуйста! — взмолилась Люба. — Прошу тебя...

— Я немножко, Любаша. Чуточку...

— Ну хорошо, только не показывайся туда, очень тебя прошу.

Люба, не зная, что делать, пробежала в гостиную, а когда вернулась, то Наталья стала еще пьянее:

— Я Славке по телефону говорю: «Ты чего в Москву ко мне не едешь?» А он говорит: «Мне там нечего делать, в твоей Москве. Мне хорошо в Люберцах». Понимаешь, у него позвоночник совсем не гнется. А пенсия у него больше моей зарплаты...

Люба чувствовала, что пьяная Наталья вот-вот встанет и пойдет поздравлять Веру, понесет эти поблекшие розовые гладиолусы. Хорошо, что в гостиной было шумно, играли на пианино, никто не заметил прихода Натальи. Люба лихорадочно придумывала способ ее выпроводить. Как назло, Ромка появился на кухне:

— Мама, мне можно во двор?

— Иди, только не ходи далеко.

И тут Наталья сграбастала Ромку и начала его обнимать:

— Ах ты, мой малюсенький, ах ты, медведушка!

Ромка с явным удовольствием высвободился из пья-

ных объятий. Любе пришлось идти закрывать за ним дверь, тем временем Наталья выпила еще полстакана. Она курила.

Люба ужаснулась при виде почти пустой бутылки:

— Наташа, ну что ты делаешь...

— А что? — забасила Наталья. — Я неделю работаю как пчелка! Иной раз и по выходным вкалываю. Меня на работе ценят... Весь универмаг знает...

— Ценят тебя! — не удержалась Люба. — А сколько раз увольняли? Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты стала похожа?!

— А чего мне себя-то жалеть? Ах, Люба... Славка мой инвалид, я ему не нужна...

Наталья пьянела стремительно, и так же стремительно исчезала надежда на ее скорый уход. Все это уже было. Однажды мужу пришлось силой выпроваживать ее на лестничную площадку. Люба со стыдом вспоминала, как пьяная Наталья при детях на весь подъезд хрипло выкрикивала неприличные фразы. Муж позвонил тогда в милицию, и Наталью увезли, видимо, в вытрезвитель. Воспоминание о том, что кричала она в последний приезд, на даче, вызвало в Любе гнев. Но гнев, смешанный с жалостью, только опустошал душу. Руки опускались.

— Уйду, сейчас уйду, — бормотала Наталья. — Ты дай мне взаймы восемь рублей...

«Почему именно восемь, а не семь и не десять», — подумала Люба.

Праздник был безнадежно испорчен. Она взяла из сумочки десять рублей и в сердцах бросила их на стол. Потом устыдилась и улыбнулась. Наталья взяла деньги и с неожиданной послушностью встала, покачиваясь, сходила в туалет, потом взяла свою отвратительную сумку и, стараясь ступать бесшумно, прошла к выходу. «Неужели уйдет?» — подумала Люба.

Но из прихожей Наталья пьяной походкой направилась прямиком в гостиную, где звучала «Баркарола» Чайковского.

— Ты с ума сошла?! — Люба схватила гостью за руку, едва ли не силой утащила обратно на кухню. — Посиди одна! Очень прошу... — и умоляюще погладила костлявое плечо Натальи.

— Ладно, ладно! Я посижу и одна. Только бы твой Мишка не пришел, он меня не может терпеть. Я ведь вижу, все вижу...

Совсем расстроенная, Люба прошла в гостиную, где было очень шумно. Она видела каждого из ребят всего по два-три раза и в общем-то не пыталась четко запомнить имена, казалось, что имена у них одинаковые. Где Виктор, а где Володя — сразу было не разобрать, но лица, волосы и фигуры у всех разные. И Люба про себя называла их по-своему: этот кругленький, этот цыган, а вон тот, самый стеснительный, напоминает известного киноактера. За глаза она так и называла его: «этот киношный мальчик». «Мама, ну почему он киношный?» — сердилась Вера. Подруги дочери, наоборот, запомнились Любе больше по их истинным именам.

— Любовь Викторовна, а трудно быть учителем музыки? — спросила одна, когда Люба принесла на подносе чай.

— Отчего же... Совсем не трудно.

— Но ведь нужен музыкальный талант, да?

— От всех только и слышно: талант, талант! — сказал цыганистый неустоявшимся басом.— А что такое талант?

— Это, Витенька, такой витамин.

— Сам ты витамин!

Поднялся азартный спор, что в жизни важнее — талант или усидчивость? Люба, наблюдая за ребятами, в какой-то момент тоже почувствовала себя девятиклассницей. Но страх от того, что вот-вот появится Наталья, мучил ее.

Купленный мужем торт вызвал всеобщий восторг, вторая бутылка шампанского так и осталась нераскупоренной. В глубине души Люба надеялась, что за дочкой ухаживает именно «киношный» мальчик. Но в действительности было по-иному — влюбленным в дочку оказался цыганистый...

Люба разрывалась надвое между гостиной и кухней. Наталья несколько раз порывалась идти поздравлять Веру, и каждый раз Люба с трудом удерживала ее:

— Наташа, поезжай, пожалуйста, домой! Очень прошу...

— Ты почему меня гонишь? Твой Димка не прогнал бы. Он бы мне и вина налил... Ты сама-то хоть видела ли его?

— Кого? — у Любы захолонуло внутри.

— «Кого, кого»!.. Она еще притворяется.

— Никого я не видела! — вспыхнула Люба. — Его много лет нет даже в Москве. Чего ты несешь?

— Да я сама его видела! В Елоховском. Борода как у попа. Я и подумала, что он теперь поп... — Наталья засмеялась, закашлялась. — На Бауманской кричу: «Дима, Дима, ты чего такую бороду отр...»

— Замолчи! Ради бога, не говори ничего при детях...

— А что дети? Им тоже надо знать про отца. Вон Верочка уж скоро невеста...

Вера, как назло, зашла зачем-то на кухню, и Наталья полезла к ней с поцелуями.

— Вера, пожалуйста, уйди... — Люба с трудом сдерживала в себе истерический крик. — Уйди, посмотри в окно, что делает Ромка...

Но и Ромка уже пришел со двора и глазел на всю эту сцену.

— Ах ты, мой медведушка... — опять запела Наталья, пытаясь присесть и обнять Ромку. — А что? Мой и есть! Кабы не я... Да кабы не я, его бы и на свете-то не было! Миленький. Помнишь, Любушка, ты уж поехала на аборт... А я тебя и отговорила, в больницу-то не пустила.

Вера стояла на кухне и слушала, стояла и слушала.

Люба почувствовала, как ноги ее стали какими-то толстыми, ватными, кухонный шкаф и холодильник вдруг поменялись местами и поплыли в глазах.

— Любовь Викторовна, вам что-нибудь помочь? — ребята нагрянули в кухню всей гурьбой.

Наталью как ветром сдуло.

— Ничего не надо... — очнулась Люба. — Идите пейте чай... Идите...

Головокружение не проходило, но сердце билось ровнее. Люба попыталась осмыслить происходящее, у нее ничего не вышло.

Сколько времени?

Позвонил муж, спросил, как закончилось чаепитие, сказал, что едет домой.

В квартире было тихо, видимо, все ребята уехали.

Она сидела на кухне с закрытыми глазами. Пыталась не думать, от всего отключиться. Но она чувствовала близость беды.

Открыв глаза, Люба замерла в новой тревоге и в новом страхе. Вера снова стояла посреди кухни и глядела на мать. Губы дочери заметно подрагивали, глаза, обычно синие, были почему-то темными.

Люба встала:

— Что с тобой?

Вера молчала. Прикусывая губы, она пристально смотрела на мать.

— Что случилось? Тебя обидели?

Вера молчала. Люба нежно взяла дочь за руку:

— Почему ты молчишь? Что с тобой?

— Ничего! — Вера вырвала руку. И в этом ее «ничего» выплеснулось столько всего: и горя, и удивления, и неверия в справедливость, и разочарования...

Люба враз, инстинктивно, но очень ясно почувствовала, что дочь не забыла и никогда не забудет родного отца. Осознание этого понимания вызвало в Любе новый страх и новое, еще не знакомое ей чувство. Она испытала обиду на дочь. Но Люба не могла принять эту обиду и немедленно переадресовала ее сначала на жену Зуева, потом и на самого Медведева, который, по словам Натальи, опять в Москве.

Вера глядела куда-то в одну точку, отрешенная, необычная. У Любы все напряглось и сжалось внутри...

— Мама, это правда? — тихо произнесла дочь. — Правда, что ты не хотела родить Ромочку?

— Что за чушь? Что ты говоришь, Вера?

— Нет, это правда! — И лишенное жалости, обезображенное гримасой лицо дочери побелело. — Ты не хотела, чтобы он родился, ты... Он... он только случайно жив остался, наш Ромочка... Это ведь правда?

— Опомнись, дочка... Это неправда...

— Нет, правда! Я вижу! Ты не хотела...

— Сейчас же замолчи! Почему ты слушаешь пьяниц? Почему веришь всяким гадостям? Я твоя мать... мать...

— Она говорит, что спасла его! Ромочки не было бы сейчас, если б... — кричала Вера. — Ты ведь хотела аборт? Разве не правда?

— Прекрати!

— Если б...

Люба не выдержала и сильно ударила дочь по щеке. Вера с четверть минуты удивленно глядела на мать, повернулась и с рыданиями выбежала из кухни. Ромка тоже заплакал. Люба опомнилась от его негромкого плача и заметалась по кухне:

— Ромочка, я сейчас... Сейчас... Куда, в какую комнату она убежала? Ты не плачь, я поищу ее.

Ромка плакал все горше и безутешней...

Когда Бриш приехал домой, все трое сидели по разным комнатам.

— Что у вас тут случилось? — Михаил Георгиевич, держа за руку плачущую Веру, открыл дверь в спальню. - Люба!

Люба лежала на кровати ничком, то и дело удушливо вздрагивала.

— Поговори с матерью, — сказал он Вере.

— Не буду я ни с кем говорить! — крикнула Вера в слезах и вырвала руку.

— Нельзя так, Вера... Ты не права. Иди и сейчас же мирись с матерью! — Он отпустил ее, обращаясь к мальчику: — Ромка, а ты почему ревешь? Ты же мужчина, так? Так.

Он быстро, как ему казалось, навел порядок в семье и не услышал легкий щелчок дверного замка.

4

День завершился кошмаром, но еще кошмарней началась ночь — чуть ли не первая бессонная ночь в Любиной жизни. (У нее не было бессонных ночей, если не считать тех самых, роддомовских.) Люба ходила по квартире как тронутая. То и дело порывалась она бежать, искала сумочку, хватала ключи, но муж опять усаживал ее в это жуткое, ставшее ненавистным кресло.

— Где она может быть?

— Никуда не надо ходить, — рассуждал Михаил Георгиевич, вышагивая по своей большой комнате. — Она вернется сама. Что ты беспокоишься? В этом возрасте...

Но Любу не могли успокоить его шаги. Ее бесило это спокойное, размеренное вышагивание. Он чувствовал это и переставал шагать. Иногда он даже пытался шутить.

— Роман, тэбэсхэдэвтэкэмнэт? — передразнил он дяденьку, который делал забор. — Я и забыл, что привез тебе крымской черешни...

Уже несколько раз муж привозил черешню, ягоды становились с каждым днем дешевле, и Любе хотелось узнать, сколько черешня стоит сегодня. Это любопытство не заглушалось болью, нанесенною словами дочери, тревогой за нее и раздражением, вызванным спокойствием мужа. Но оно, это желание узнать сегодняшнюю стоимость черешни, было таким неуместным... Оно злило ее еще больше. Любе казалось, что во всем виноват муж.

Почему он не вернул девочку с автобусной остановки, почему ничего не делает, почему...

— Позвони еще раз! Хотя бы в школу!

Михаил Георгиевич покорно вставал и шел к телефону, а ей вновь казалось, что ему не хочется никуда ни звонить, ни ехать.

Час проходил за часом. Вера не возвращалась. Куда бы они ни звонили, везде отвечали, что Веру не видели, и везде обещали, что сразу позвонят, если она появится. Не отвечала только школа. «Может, Вера уехала на дачу? — думала Люба. — Надо позвонить соседям...»

И Михаил Георгиевич начинал звонить дачным соседям. Затем долго ждали, когда позвонят соседи, но Веры в Пахре не было. Люба не решалась просить мужа звонить в милицию, он же заранее знал, что она думает.

— Ну, а что тебе даст милиция? Милиция... Я подозреваю, что звонить надо совсем по другому поводу. По другому проводу.

«Даже в такие минуты он не может без своих каламбуров, — думала Люба. — По какому другому?»

— Что ты имеешь в виду? — вскочила она с надеждой.

— По-моему, эта мерзавка сказала Вере еще кое-что. Ты знаешь, где обитает Медведев?

— Нет, — смутилась Люба. Вернее, она сразу стала спокойной и переменилась. — То есть я слышала...

— Он уже ходит в райисполком, интересуется, правильно ли сделано усыновление... — Михаил Георгиевич развернул паспорт Веры. — Вот посмотри...

Люба только сейчас увидела, что фамилия в паспорте была не Бриш, а Медведева.

— Мне кажется, он уже встречался с Верой.

— Не может быть! — вспыхнула Люба. — Откуда он взялся?

— Может, может, — Михаил Георгиевич потрепал жену по спине. — Я не хотел тебе говорить, но он, по-моему, хочет...

— Чего он еще хочет? — в сердцах воскликнула Люба. — Чего? Пусть он оставит нас в покое! Пожалел бы детей. Прошло столько лет. Я не могу! Миша, я не могу так...

— Как так? — Михаил Георгиевич не заметил, что спросил это громче обычного. — Как?

Она приняла это «как» за крик и закричала сама, но

своего крика она никогда не слышала. И тогда Михаил Георгиевич ушел от нее в спальню. Это еще больше обидело Любу, ей показалось, что он равнодушен, и она наговорила ему грубостей. Он оглянулся, посмотрел на нее с недоумением, а ей показалось, что с ухмылкой. Она разрыдалась, но она знала, что он никогда не верил женским слезам... Неизвестно что было бы дальше, если бы не зазвонил телефон. Глотая слезы, Люба схватила трубку.

Звонил Медведев. Он сказал, что Вера у него, что он знает, как о ней беспокоятся, и поэтому решил позвонить. Люба Бриш то и дело спрашивала, как чувствует себя ее дочь, до нее не сразу дошло, с кем она говорит...

Господи, какое счастье, какая страшная тяжесть сразу исчезла!

— Адрес, какой у вас адрес? — кричала Люба. — Я хочу записать...

Она лихорадочно записывала что-то на старом конверте, забыв положить трубку, кидалась в спальню:

— Миша, Миша, она нашлась! С ней все в порядке... Я знаю где...

— Я тоже знаю, — спокойно промолвил Бриш.

— Ты... ты знал и молчал?

— Да нет, я в общем-то не совсем знал... Я только предполагал.

— Я сейчас же еду за ней!

— Что ж... — хмыкнул Михаил Георгиевич. — Может, прихватишь и Ромку?

— Нет, пусть спит, — она не поняла этот черный мужской юмор, а он не стал повторяться.

Он сказал:

— Ты же видишь, что сейчас ночь, хотя и белая, но все же ночь. Куда ты поедешь? Ты не найдешь даже такси... Уж лучше поеду я.

Но она не слушала. Она хваталась то за сумочку, то за плащ, то искала деньги, то подводила брови, и не успел Михаил Георгиевич скопить решительность, как ее каблуки процокали в коридоре. Он слышал, как хлопнула дверца лифта.

Он поправил одеяло у спящего Ромки и прошел на кухню. Открыл дверцу холодильника, достал бутылку и с минуту разглядывал роскошную этикетку. Изящный силуэт белой как снег лошадки с чуть приподнятым белым хвостом заставил его иронически хмыкнуть.

«Белая лошадь, белая ночь, белая гвардия тра-та-та дочь, — подумал он зачем-то. — Я, как Аркашка, стал сочинять. Где-то сейчас Аркашка?»

Он налил в стакан коричневой жидкости. Затем положил туда два ледяных куска. Прошел обратно, поставил стакан, сел в кресло, взялся за телефон и сделал международный заказ. Но тот, кому он звонил, вероятно, выключал на ночь телефонную связь. «Какая же там ночь? Там утро, — бормотал Бриш, то и дело отхлебывая из стакана. — Хамье. Кругом дураки и хамье, даже за океаном. Я не могу так больше».

— А как это так? — вслух повторил он уже для себя свой недавний вопрос, обращенный к жене. «Ну, как? Да вот так, как есть. Долго рассказывать...»

Люба добралась до вокзала лишь под утро. Поехать за дочерью сразу она не смогла, электрички уже не ходили. Да и в такси на пути к вокзалу представилось время спокойно обдумать то, что случилось. Наконец она почти решила вернуться. На вокзале, несмотря на толкотню, показалось ей так пусто, так тоскливо, что она нашла автомат и набрала домашний номер. Прижимаясь ухом к пластмассовому кружочку, она считала гудки. Насчитала их больше пятнадцати и бросила трубку: «Неужели он так крепко заснул? Нет, он просто знает, он чувствует, что звоню я. Он нарочно не хочет подходить к телефону».

Оказалось, что звонила она не в город, а на дачу, но исправить оплошность почему-то не захотела... Ее раздражение все определенней поворачивалось в одну сторону, то есть на Михаила Георгиевича. «Почему он так спокойно спит, когда жена и дочь не ночуют дома? Почему? Вместо того, чтобы... Эта его вечная ухмылка, это хмыканье, они хоть кого выведут из себя».

Так думала Люба, заставляя себя представить хорошие свойства Михаила Георгиевича: «Нет, нет, ты несправедлива. Вспомни, как он добр с твоими детьми. Как пришел на помощь, когда ты осталась одна. Одна с двумя детьми! А когда умерла мама...»

При воспоминании о матери ей становилось отрадней и как-то спокойней, в такие минуты она приходила в себя, к ней возвращалось благоразумие. В ожидании электрички она вдруг выяснила, что приехала не на тот вокзал. Она всю жизнь путала Савеловский с Павелец-

ким, два эти названия сливались почему-то в одно понятие.

Ее второй звонок встряхнул дремавшего в кресле Михаила Георгиевича. Он будничным голосом пожелал ей доброго утра. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Бриш. Люба сказала ему, чтобы он не беспокоился, что она не успела на электричку и едет домой. «Домой? Чей дом ты имеешь в виду? — Он, как и всегда, пытался шутить, сейчас это показалось ей особенно неприятным. — Так вот, Любаша, у меня есть новейшая информация! Они звонили еще и сказали, что завтра в середине дня будут в Третьяковке. Ты можешь перехватить беглянку в этом храме искусств, я сам говорил с Медведевым». — «Ты? Ты говорил с ним?» — «А что тут такого?» — весело произнес Михаил Георгиевич. У Любы перехватило дыхание. Она закончила разговор в полной растерянности. «Нет, это надо же!» — она со злостью выскочила из телефонной будки. Он говорит с ее бывшим мужем, и ему хоть бы что! Говорит с родным отцом Веры и Ромки, а потом спокойненько сообщает ей. Какое кибернетическое спокойствие!

Люба не запомнила ничего из того ночного периода, когда уезжала, тотчас забыла, как бродила по вокзалу, как возвращалась утром. Она провожала Ромочку в школу, убирала почти пустую бутылку, заправляла постель, а сама только и думала об этом мужнином спокойствии. Михаил Георгиевич брился в ванной.

Она поджарила яичницу с ломтиками бородинского хлеба. Муж не стал есть. Выпил стакан крепкого чаю и быстро собрал «дипломат».

— Куда ты едешь? — спросила Люба.

— Если ты намерена продолжать холодную войну, то я тоже должен вооружаться. Пока! Позвоню в конце дня.

Ему пришлось наклониться, чтобы коснуться ее горячей щеки. Люба осталась слегка ошарашенной. «Что он задумал?»

До поездки в Третьяковку оставалось много времени. Она поставила будильник, вытерла лицо лосьоном и спряталась под одеяло... Ей казалось, что она не спит, но ей снился счастливый, радостный и цветной сон: что-то школьное и весеннее, что-то связанное с музыкой и новым красивым платьем. Может быть, это было в парке Горького, может, в Сокольниках, но эти красные и желтые тюльпаны так и стояли в глазах! Будильник дерзким

своим звоном вытащил, выдрал ее из счастливого состояния, в одну секунду переместил в состояние реальности и вчерашней тревоги.

Она быстро оделась, привела себя в порядок. Старый конверт с записанным ею адресом жег руку... Люба его скомкала и бросила в мусорный ящик. «А может, не надо ехать? Вера большая, приедет из Третьяковки сама. Он не имеет права ее задерживать! И вообще какое ему дело? Я не хочу его видеть, не желаю ничего о нем знать. И пусть он оставит в покое мою семью!»

Обрывочные беспокойные мысли мешали делать массаж под глазами, втирать крем и наводить синеватые тени на верхние веки. Она разглядывала себя в зеркале, перебирала в уме свои украшения, щелкала пластмассовыми плечиками, кидая на кровать костюмы и платья. И ничего не могла подобрать. То слишком темное платье, то слишком теплое, это вызывающе яркое, это стало тесно. После долгих раздумий она выбрала было светло-серую шерстяную пару, но тут же отказалась от этого выбора. «Ему будет неприятно увидеть меня в костюме десятилетней давности», — подумалось ей. Но Люба покраснела от этой мысли. Какое ей дело, что будет ему приятно, а что неприятно? Щеки горели. Она злилась теперь сама на себя. Перекидав заново все вешалки и словно назло кому-то или чему-то, она выбрала стираный-перестираный холстинковый сарафан с вышивками.

Медведев не бывал в Третьяковке около десяти лет. Обрадованный вчерашним приездом дочери, он был возбужден, разговорчив и все утро, пока Вера спала, шутил и даже озорничал. Вчера бабушка с девичьим именем Маруся успокоила его заплаканную дочь, накормила и уложила в своем пахнущем травами тереме. Все действительно было как в сказке, пока он не спросил Веру, почему она поссорилась с мамой. Она долго молчала, но он был настойчив. Она вдруг заговорила. И когда он услышал про вопрос, заданный Верой матери, его передернуло:

— Кто тебе сказал эту мерзость? Ты должна знать, что рождение и смерть не зависят от человека...

— А от кого?

— Ты слишком любопытна, — Медведев успокоил ее улыбкой, обнял узенькие, совсем детские плечики. Он ощутил под ладонью плечевой сустав, эти еще не окреп-

шие косточки, и ему стало тяжело дышать. «О, еще как зависят», — подумал он.

Казалось, Вера неохотно ехала в Третьяковку. Медведев боялся быть назойливым, ничего не расспрашивал. Он только сказал, когда вышли на «Новокузнецкой»:

— В музее мама тебя встретит. Мы не договаривались, но мне так думается. Ты слышишь меня?

— Да, — очень тихо сказала Вера.

— А в следующий раз, если ты не против, мы сходим в Большой театр. Уж я постараюсь достать билеты! Ты была там? После того как мы вместе ходили на «Щелкунчика»?

— Да. Мы слушали «Ивана Сусанина».

— С кем?

— С мамой и с... — она замялась. — С Михаил Георгиевичем.

— Очень понравилось?

— Да.

Он сделал логическую ошибку: надо было сказать не «с кем», а «кто исполнял Сусанина». Она поняла его вопрос немножко не так. К тому же снова и снова наталкиваешься на неловкость. Даже ты, опытный и прошедший всё, исключая медные трубы. А каково ей? Девочке, которая едва закончила девять классов... Конечно же она все эти годы называла его папой. Какая нелепость! Мишка Бриш — папа его дочери. И сына...

На Лаврушинском пестрая и очень «толстая» очередь тянулась метров на двести, улица была забита автобусами. У ворот, заставленных железными ограждениями, толпились группы иностранцев. Их пропускали вне очереди, и это возмутило Медведева. Гиды и переводчики собирали своих подопечных, кричали, махали руками. Для туристов, видимо, тоже существовала своя иерархия.

— Бери меня под руку и делай вид, что ты дочь аризонского фермера, — сказал Медведев.

Он важно и не спеша провел ее через огражденную зону к входу во двор Третьяковки. Остановился перед двумя юными милиционерами и торжественно произнес:

— Салус попули супрема лекс эсто!

Один из милиционеров недолго думая махнул рукой, другой вежливо посторонился. Медведев и Вера прошли во двор.

— Что, каково? Похож я на американца? — тормошил дочку Медведев. — Конечно, если б не борода...

— А что ты ему сказал? — оживилась наконец Вера.

— Благо народа да будет высшим законом.

Она рассмеялась. Ее смех, нежный и детский отзвук ее голоса подняли Медведева на седьмое небо. Но когда купили билеты и прошли в галерею, Медведев был поражен и обескуражен. Новейшая экспозиция вызвала в нем гнев. Он не узнавал Третьяковку. Многих картин не было, другие висели в необычном соседстве. Живопись последних десятилетий занимала слишком много пространства. За счет кого и чего? В подвалы запасников были задвинуты многие приобретенные еще Третьяковым картины. «Хорошо, если они в запасниках», — подумал Медведев.

Медведев подвел Веру к портрету работы Кипренского:

— Смотри, ты нигде больше не увидишь живого Пушкина. Можешь сказать, какой он сейчас? Грустный или веселый?

— Грустный.

Медведев засмеялся.

— А сейчас?

— Сейчас? — Вера посмотрела сначала на отца, потом на портрет. — Сейчас веселый! Нет, правда!

— Вот видишь, он все время разный. Если ты придешь сюда одна и через неделю, он опять будет другой.

Вера поняла мысль отца, потому что сама, на себе, уже испытала что-то похожее. Этим летом она часто общалась с зеркалом, наблюдала за изменениями своего лица. Ей очень не нравилось сильное сходство с лицом мамы, хотя маму и называли красавицей. Но однажды она уловила в зеркале сходство с отцовским лицом, которое она знала по фотографии, — это сходство ей тоже не нравилось. Ей хотелось, чтоб не было ни того, ни другого сходства. Она стыдилась этой похожести и знала, когда становилась похожей на отца, а когда — на мать. Она всегда чувствовала, на кого похожа в ту или иную минуту.

Они долго стояли у портрета Лопухиной.

— Говорят, что она похожа на твою маму, — на ухо дочери сказал Медведев. — Ты не находишь?

— Нисколько! — Вера даже фыркнула.

Медведев остался доволен дочкой, хотя и знал, что

она не права. Боровиковский, этот колдун, этот волшебник, много лет знал о существовании Любы, он создал ее образ, а не образ Лопухиной — грустной жены (или сестры?) «дикого американца». Особенно поражало Медведева сходство глаз. Эта печальная необъяснимая глубина во взгляде волновала его, раздирала ему сердце, и он поспешно повел Веру дальше, к Нестерову и Сурикову...

Толпы иностранных туристов, по-научному группы, стремительно перемещались по залам. Экскурсоводы барабанили каждая на своем языке; французская, испанская, английская речь сливалась и путалась. В толкучке, в запахе интернационального пота ничего нельзя было ни разглядеть, ни подумать.

Медведев и его дочь спустились вниз, где продавались альбомы. Он уже хотел купить ей что-то на память, когда Вера дернула его рукав:

— Папа...

Он посмотрел туда, куда она показала ему глазами. У выхода из вестибюля сидела Люба. Он издалека сразу узнал ее. Да, он узнал ее тотчас, хотя она сменила прическу. По тому месту, где спина незаметно переходит в шейный изгиб, и даже по холстинковому сарафану, которого он никогда не видел, он узнал ее сразу, и сердце участило свои удары. В какой-то момент он ощутил чувство гадливости. Это чувство тотчас растворилось в презрении, которое в свою очередь тоже исчезло, поглощенное жалостью к этой женщине. Увы, ему было уже все равно, смотрела ли она эти идиотские фильмы! Уже не волновала его и ее близость к дамским персонам типа Натальи Зуевой, он был давно свободен от всякой ревности. Но ведь она мать двух бесконечно дорогих для него людей. Мать, то есть самое близкое и самое дорогое для них существо. Почему же она...

— Идем к ней? — весело спросил Медведев.

Вера кивнула. Он заметил, каким неестественным блеском блестели сейчас глаза дочери, как радостно заспешила она в материнскую сторону, держа в своей маленькой ручке два огрубелых медведевских пальца.

Ему стало бесконечно горько от всего этого. Он остановился и, высвобождая руку, сказал:

— Иди и попроси у нее прощения. Не обижай маму. Я сообщу, когда будут билеты в театр.

Вера остановилась, растерялась, глаза ее вновь потускнели.

— Ступай!

— А ты? — он разобрал эти слова по движению ее рта, так тихо она сказала их.

Он ничего не успел ответить: Люба узнала их и шла к ним, переполненная, как ей казалось, справедливым негодованием, решительная, возмущенная и оттого особенно красивая, что начинало уже слегка смешить Медведева.

— Иди и сядь вон там! — приказала она дочери, указывая через дверь на скамью во дворе.

Вера нерешительно вышла из вестибюля.

— А, это ты... — сказала Люба, словно не зная, с кем могла быть ее дочь. — Очень приятно.

— Может, мы поздороваемся? — улыбнулся Медведев. — Как-никак не виделись... много лет.

Все ее планы о том, как она отчитает, как пригрозит и унизит его, исчезли. Исчезла вдруг ее заранее припасенная агрессивность. И все это при одном виде этого коренастого улыбающегося человека с густой каштановой бородой. Борода была несимметрично прихвачена серебристо-белыми прядями седины.

— Вообще-то нам не о чем с тобой разговаривать, — сказала Люба, пытаясь вернуть себе пропавшую злость. — Но если ты хочешь...

Они стояли на том же месте, где она ждала перед этим. Вестибюль заполнился сразу двумя группами иностранцев. И Любе вдруг на секунду почудилось, что она не в Москве...

— Говорить нам действительно не о чем, — сказал Медведев. — Но я хотел бы увидеться с сыном. Надеюсь, вы с мужем не будете против...

— А зачем это тебе? Родился он без тебя, ты совсем не знаешь его.

— Именно поэтому я и хочу его видеть, — сказал Медведев. — Это ведь мой сын? Не так ли...

Люба не сразу почувствовала теплоту своих слез. Она отвернулась, промокая щеки платком.

— Где ты работаешь? — спросила она. — Давно в Москве?

— Я не в Москве, Люба. Я под Москвой. Давай потолкуем потом. Когда ты хоть немножко привыкнешь к тому, что есть еще и я, Медведев. Сидящий под Москвой, как тушинский вор...

— Я не виновата перед тобой.

— Разве я виню тебя?

— Ты не представляешь, что я тогда пережила...

— Почему же? Очень хорошо представляю! Я даже согласен с тобой. Во всем. Кроме одного... И потом, эта комедия с усыновлением. Но... давай потолкуем в другой раз!

— Дима!

Он исчез во дворе, пропал среди многочисленных посетителей галереи. Люба, почему-то до предела уязвленная, тоже вышла во двор. Вера поднялась со скамьи, с тревожной надеждой поглядела на мать:

— Мамочка, а где... он?

Мать уловила заминку: дочь постеснялась назвать Медведева папой.

— Хочешь мороженого? — собираясь с мыслями, спросила Люба.

— Нет... — Глаза Веры снова блеснули, но Люба не заметила этот недетский печальный блеск. А ее собственные глаза все еще гневно щурились, белые ноздри двигались и зубы сжимались, сопротивляясь улыбке. Вскинув гордую и красивую голову, она быстро провела дочь сквозь толпу.

Обычно для возвращения спокойной уверенности ей хватало одного восхищенного мужского взгляда, а тут с лазерной точностью пересекалось на ней множество, и прежнее состояние быстро вернулось к ней.

На Пятницкой мать с дочерью поглотило ненасытное и вроде бы вечное эскалаторное горло сказочного столичного подземелья.

5

Куда было ехать в такую рань? Но Михаилу Георгиевичу лучше, чем кому-либо, известно, что в Москве всегда, во всякое время суток, найдется важное дело, если ты не ленив и хочешь чего-то добиться.

Конечно, высшие «эшелоны» появляются на работе только после двенадцати, а кое-кто и не каждый день. Средние, подражая высшим, являются около десяти, зато у низших (от которых все и зависит) свежая голова бывает лишь рано утром.

Тут уж, как говорится, кто первый...

К тому же ошибочно считать, что дела в Москве решаются обязательно в учреждениях и в рабочее время.

Прежде чем сделать основной, еще ночью запланированный визит, Михаил Георгиевич побывал в трех местах, сделал десятки звонков с квартирных телефонов и уличных автоматов.

По случаю раннего времени пришлось отказаться от заманчивой мысли вызвать служебную «Волгу».

Он никогда не жалел денег на такси, знал, что иначе в Москве ничего не успеешь.

На Новой Басманной Бриш изловил такси, четко назвал очередной адрес — адрес НИИ. Ехал он не в свой отраслевой институт, а в тот самый «почтовый ящик», откуда ушел лет восемь назад и где когда-то работал Медведев. На полпути пришлось застопорить и по автомату позвонить секретарше Академика, чтобы та заказала пропуск.

Менее чем через час машина остановилась у проходной института. Михаил Георгиевич не без труда уговорил шофера подождать.

Сравнительная тишина и непрямая дорога, осененная новейшей зеленью и несколькими старыми, видимо, еще дореволюционными деревьями, слегка успокоили Михаила Георгиевича. Он любезно, ничего не значащей фразой перемолвился с вахтером, поцеловал руку секретарше, тщательно потряс ладошку Академика.

Академик был такой же веселый и юркий, как во времена медведевской «Аксютки». Он занимался теми же, что и десять лет назад, фундаментальными исследованиями. Прикладные возможности этих исследований позволили институту трижды переменить практическое направление работ, и все три раза в высоких инстанциях с энтузиазмом встречали очередную идею. Со временем интерес к новому делу сменялся интересом к другому, новейшему, прежняя идея тускнела и меркла в блеске иной, еще более захватывающей, и практическая направленность институтских работ круто менялась. «Так он и толчет воду в ступе», — подумал Бриш, почтительно выслушивая восторженного Академика. Пока не выслушаешь, нельзя было говорить о своем деле, но Михаил Георгиевич торопился, поэтому перебил и прямо спросил Академика о вакансиях. Нет, он не собирается возвращаться в «почтовый ящик», не для того он вылез из «почтового ящика»! Его мирный, сугубо гражданский отраслевой институт дает человеку мыслящему не меньшие, а

большие творческие возможности. Академик берется опровергнуть подобную мысль? Очень хорошо, но лучше в другой раз. А теперь... как же все-таки насчет вакансий? Нет, речь идет о бывшем работнике института, докторе, простите, кандидате наук.

— Медведев? — Академик удивленно посмотрел на Михаила Георгиевича. — Да, очень интересно работал. Но ведь он давно дисквалифицирован! И потом... В инстанциях просто нас обхохочут.

— А кто говорит о Москве? — сказал Бриш. — Я вообще не о нашем институте. Я бы попросил вас позвонить... В одно место... чтобы там позвонили в Ленинград, на худой конец, в Красноярск.

И Бриш назвал руководителей двух периферийных НИИ.

— Ну, это проще пареной репы, — сказал Академик. — А почему ты не позвонишь сам?

Но Академик тут же набрал телефон министерства.

Оперативность, с которой улаживались иные дела, удивляла порой и самого Михаила Георгиевича. Он поговорил с Академиком о погоде и пообещал как-нибудь завезти бронзового фавна.

Таксист терпеливо ждал у проходной института. Громко, словно будильник, стучал счетчик. Михаил Георгиевич при виде двухзначной цифры в рублях мысленно поморщился, только настроение было неважным отнюдь не от этого. Не доезжая до места работы двух кварталов, он отпустил такси и вновь надолго занял будку телефона-автомата. После настойчивой и однообразной «работы» он наконец дозвонился до сестры Иванова и попросил ее через брата достать ему точный адрес Медведева.

— А почему ты сам не позвонишь Саше? — спросила Валя. — У тебя же есть телефон клиники. В конце концов вы же приятели.

Вопрос был резонным, и, самое неприятное, прозвучал он сегодня уже дважды. Михаил Георгиевич отделался шуткой. В кафе-мороженом, где он через полчаса встретил Валю, толкались шумные школяры Ромкиного возраста. Сидя за мраморным столиком, Бриш нехотя глотал сладкую дымящуюся массу, поддакивал и выслушивал многозначительные намеки. У него мало, совсем мало времени...

— Слушай, Валя, а как поживает твой прапорщик? Он что, снова в командировке?

Сестра нарколога Валя так посмотрела на Михаила Георгиевича, что ему стало не по себе.

— Во-первых, он был капитан, а не прапорщик, — сказала она. — Потом, он... теперь он в бессрочной командировке... Оттуда не возвращаются.

Она отвернулась.

— Извини, я не знал.

— Ничего, — она промокнула платком глаза.

После необходимой паузы он осторожно напомнил ей, для чего они встретились. Оказалось, что Валя знала не только медведевский адрес, но и телефон.

— Да, да, я где-то записывала... — Она разворошила всю сумочку. Нашла записную книжку и продиктовала. — Но это через коммутатор, он там редко бывает. Надо договариваться, приглашать заранее. А вот почтовый адрес...

«Суду все ясно», — подумал Михаил Георгиевич, выслушивая оживленный лепет и улыбаясь своей внутренней, незаметной снаружи улыбкой.

Валя, не стесняясь, пудрила нос. Михаил Георгиевич попрощался. Он едва успевал в комиссию по опеке. Но прежде чем ехать в комиссию, он пешком прошагал на арбатский почтамт, успел позвонить в совхоз, чтобы Медведеву сообщили о времени следующего звонка. Не очень вежливый мужской голос пообещал сообщить, если будет возможность. «Что значит, если будет возможность?» — кричал в трубку Михаил Георгиевич, но в ответ образовались одни лишь коротенькие гудки. После посещения райисполкома Михаил Георгиевич позвонил вновь, телефон не ответил вообще.

«Хорошо, пусть выполняет Продовольственную программу», — вслух произнес Михаил Георгиевич и сменил будку. Надо было связаться с наркологом Ивановым. Это получилось намного удачнее: Бриш перехватил его буквально через пятнадцать минут в метро, когда тот переходил с «Калининской» на «Арбатскую».

А уже через полчаса Михаил Георгиевич на такси мчался в Люберцы.

Вячеслав Зуев день и ночь делал модели... Начал он года два назад с горбатой атомной лодки. Оснастка ее бы-

ла только наружной, сделанной вчерне без многих важных деталей. Теперь Зуев даже стеснялся показывать эту модель. От нее он прошел долгий, правда, обратный путь кораблестроителя. Его мастерство и тщательность отделки нарастали с каждой моделью, возвращающей его вспять. Уже дореволюционный «Варяг» имел полностью отделанную кают-компанию. Корабль Крузенштерна щеголял медными частями оснастки. А первый российский корабль «Орел», над которым Зуев корпел последние месяцы, должен был стать точнейшей копией подлинного.

Зуев жил благодаря своим ретроспективным созданиям. Вначале они выплывали из прошлого зыбкими, волнующими видениями, затем, после долгих поисков нужных книг и переписки со знающими людьми, воплощались над его верстаком в полные смысла, но еще мертвые медные, деревянные и веревочные детали. Наконец эти детали соединялись в одно целое и становились живыми. Единство их поглощало, принимало в себя утомительную множественность, рождая взамен целостный образ.

В специальной коляске, опутанной бандажными лентами, снабженной всевозможными приспособлениями, Зуев чувствовал себя чуть ли не космонавтом. Он ловко передвигался по светлой двухкомнатной квартире, заваленной книгами, инструментами, деревянными заготовками, бутылками с каким-то клеем и политурой. Половину пенсии он отдавал соседям — чете стариков, которые снабжали бывшего моряка едой и чистым бельем. Вторую половину он тратил на книги, инструменты и материалы.

Ноги по-прежнему отказывались подчиняться. После автодорожной катастрофы он полгода провел в военных госпиталях; будучи списанным, валялся и в гражданских больницах. Люди напрасно думали, что он сам сидел за рулем. Нет, Зуев сидел справа от молоденького матроса-водителя, когда грузовик, возвращавшийся на базу, перестал подчиняться. Дорога, покрытая ледяной коркой, ушла от них влево, а они начали кувыркаться по скальным выступам. Тот салажонок-матрос уже на второй день крутил баранку нового вездехода, а он, Зуев, «кувыркался» так до самой Москвы. Иванов помог обменять

московскую квартиру на подмосковную, так как Зуев желал, чтобы в окно виднелось хотя бы поле. Наталья не стала переезжать в Люберцы, перебралась жить к своей старухе матери.

Она, то есть Наталья, по-прежнему считала себя женой Зуева. Зуев не возражал. Вопреки утверждениям Иванова, они были даже не разведены. Наталья приезжала почти всегда неожиданно, довольно часто «под мухой».

С недавних пор у нее народилось к Зуеву материнское чувство. Произошло это примерно в то время, когда она начала говорить басом.

— Славушка, — откашливалась она на кухне, — у тебя, миленький, опять развелись тараканчики.

Нет, Зуев ничего не имел против уменьшительных суффиксов. Но каждый раз, когда она приезжала, ему вспоминался украинский анекдот о Мыколе, который «переночует та и уйдет. Сама не пойму, и чо́го ему треба? Ходыть и ходыть». Пересоленный флотский юмор оставил изрядный след. Зуев не заметил, как зародилась вполне простительная в его положении безудержная страсть к анекдотам. Впрочем, молчаливое добродушие по отношению к недостаткам других делало эту страсть вполне симпатичной для окружающих. И если строительство кораблей было в зуевской жизни «тяжелой индустрией», то анекдоты служили как бы «легкой промышленностью». Только здесь он шел уже не от современности к прошлому, а, наоборот, от прошлого к современности. Однажды, случайно записав афоризм Юлия Цезаря, Зуев незаметно для себя начал коллекционировать анекдоты о знаменитых лидерах прошлого. В толстой тетради, которую он прятал в трюме трехпалубного фрегата, больше всего скопилось записей о Наполеоне. Далее шли прочие, а самые последние записи касались сегодняшних новостей.

Речь в них шла о кое-каких причинах того, что Р. не пускали в Москву, о М., который, вместо того чтобы лететь в Волгоград, угодил в вытрезвитель и т. д.

Зуев, чтобы не забыть, наскоро записал несколько слов на бумажном клочке. Маневрируя, то пятясь назад, то объезжая препятствия, он добрался до кухни, где хозяйничала Наталья. Он подергал ее за подол:

— В субботу явятся Ивановы. Ты хочешь с ними увидеться?

— Славик, ни за что! — Наталья сделала энергичный жест ладонью около шеи. — Ни за что, миленький, мне на работку.

Он понял, что она опять «завязала», и не стал спрашивать, почему суббота у нее оказалась рабочим днем.

— А что, и Медведев придет? — спросила она, закуривая, и, когда Зуев кивнул, рассказала, как встретила его в прошлый раз, на вокзале, как поцеловал он ей руку и купил целую кучу тюльпанов. — Он ничего, видный еще мужчинка, — завершила она рассказ. — Не пойму только, зачем ему борода?

«И чого ему треба? Ходыть и ходыть», — опять припомнилось Зуеву.

— В бороде-то, говорят, вся сила, — сказал он. — Вот если у кота обстричь усы, он сразу перестанет ловить мышей.

— Неужели? Славушка, у нашего Мурзика вон какие усищи, а он все равно не ловит мышей.

— Это потому, что у вас нет мышей.

Наталья вздумала мыть голову. Она пела в ванной какую-то несуразицу из пугачевского репертуара.

Так было каждый раз: она приходила тихая (открывала своим ключом), а уходила шумная, посвежевшая. Она заряжалась его энергией. Она становилась моложе, и даже голос временно терял хрипоту.

Зуев с грустью наблюдал за ее стремительным увяданием, подтрунивал над непостоянством ее многочисленных поклонников. Иногда он передавал им свои приветы. Ведь она докладывала ему о главных своих похождениях... Ей не приходило в голову, чего это ему стоило. Нет, она никогда не узнает, как он, не однажды, жигулевским пивом (привезенным ею же словно бы нарочно для этого) гасил свое бешенство, как душил в себе, словно змею, желание ударить ее костылем... А что мешало ему развестись с ней? Вроде бы ничего, особенно теперь, когда он стал совершенным калекой.

Но он давно знал, что развод ничего не решает и ни от чего не освобождает...

— Славик, миленький, ты не откроешь, там кто-то звонит! — послышалось из ванной, но Зуев уже катился в прихожую. Для того чтобы повернуть рычажок замка,

приходилось ставить коляску боком, после чего надо было откатываться, чтобы дверь открылась.

— Можно? — спросил Михаил Георгиевич, вытирая вспотевший лоб и уши.

— Тра-таа, тэ-тэ-тэ, тэ-тэ-тэ, тэт-тэ, тэт-тэ, тэ! — Зуев пропел туш, дирижируя сам себе. — Давненько я не играл с тобой в шашки. Входи, входи!

— Славик, кто там? — Наталья с закутанной в полотенце головой, в новом халате, вышла из ванной. — А, попался, который кусался!

— С легким паром? — игриво спросил Михаил Георгиевич.

— С легким, с легким, — пробасила Наталья. — Идите в комнату, сейчас поставлю чайник.

...Бриш провел у Зуевых более двух часов. Мало того, покинув Люберцы, он, недолго раздумывая, в тот же вечер проехал немалый путь «в сторону сельского хозяйства», как выразилась Наталья о местопребывании Димы Медведева.

Действительно, в такую сторону Бриш ехал впервые.

Маруся постучала в дверь медведевской комнаты:

— Митя, а тебя спрашивает какой-то профессор. В дом не идет, я звала. Такой высокий, як журавель. Нет, ты не подумай, я очень гарно звала!

Медведев глянул в окно и крякнул от неожиданности. За калиткой стоял Бриш, барабанил пальцами по «дипломату». «Интересно, сам назвался профессором или это фантазия Маруси? — подумал Медведев. — Что ж...»

Нужно было выходить на крыльцо, спускаться по трем ступенькам, идти по травяной тропке. Любое поведение при такой встрече, как считал Медведев, будет фальшивым, поэтому решил использовать дурашливую фамильярность и распахнул калитку:

— Здравия желаю, господин профессор!

Медведев не колебался в том, подавать или не подавать руку. Он даже не приблизился. Но у гостя был такой виноватый, такой жалкий вид, что приходилось опять придумывать, что делать и что говорить.

Калитка была открыта, но Бриш все еще стоял на той стороне.

— Нам надо потолковать, — сказал он, глядя в медведевскую бороду. — Ты не находишь?

«Может, надо, а может, и нет, — подумал Медведев, разглядывая его. — Я, во всяком случае, говорить с тобой не имею никакого желания. Да-с, ни малейшего. А идущий, так сказать, впереди нисколько не постарел. Правда, наметилась лысина и брюшко. Остальное вполне по-старому...»

Михаил Георгиевич продолжал:

— Я звонил, но получилось не очень удобно, поэтому и решил нагрянуть незваным гостем. Ты, надеюсь, поддерживаешь перемирие?

Медведев слушал. Ему захотелось прервать это нудное многословие и перед носом гостя захлопнуть калитку. Вместо этого он спросил с усмешкой:

— Мы что, в состоянии войны?

— Я думаю, да, — обрадовался Бриш.

— Тогда прошу! — Медведев еще раз торжественно распахнул калитку. Он хотел добавить: «К моему шалашу», — но раздумал. Ведь сарайка и впрямь была почти шалашом.

Михаил Георгиевич поместился на табуретке, ноги пришлось просовывать под кровать. Ни выключать радиорепродуктор, ни закрывать дверь, ни предлагать чаю, ни садиться Медведев не стал. Он ждал.

«И солнце утром не вставало б, когда бы не было меня», — оглушительно пропело радио.

— Какая самонадеянность! — Медведев выдернул вилку.

— Не самонадеянность, а самодеятельность, — поправил Бриш. — Ты куришь?

— Нет.

— А как насчет этого? — Бриш щелкнул у себя под ухом.

— Тоже нет. Ты разочарован?

— Да ну, что ты... Просто думал, что десять лет — это... я бы, наверно, там и пил, и курил.

— Во-первых, не десять, а шесть, — злясь на себя, заговорил Медведев. — Во-вторых, там далеко не все курят и чифирят...

— А в-третьих? Я вижу, ты хочешь что-то добавить.

— В-третьих... Дорогой мой! Если б это случилось с тобой, тебя бросилась бы спасать целая армия защитни-

ков. Пол-Москвы бы встало стеной! И ты бы отделался всего лишь легким испугом.

— Со мной никогда ничего подобного не случится, — убежденно сказал Михаил Георгиевич.

— Ты уверен?

— Я никогда в ходе работ не менял принципиальные схемы. Тем более не общался с паяльником. И если б этот дурак не брался за паяльник... если б он включил хотя бы осциллограф... Не говоря о системе регистрации...

— Грузь был умнее тебя! И если ты еще раз... Слушай, а зачем ты приехал? Что ты хочешь?

— Извини, извини, дай мне закончить, — говорил Бриш, как бы для обороны выставляя ладони. — Если б он не полез в схему, все было бы... кстати, ты знаешь, что работа по твоему проекту велась все это время? Она и сейчас ведется. Но я предлагаю тебе другой институт.

— Лаборантом? — усмехнулся Медведев.

— Почему же? Младшим научным сотрудником можно хоть завтра. Есть полная договоренность. На периферии прекрасные коллективы...

— Ба! — Медведев шлепнул себя по лбу. — Какой я стал тугодум. Это же почетная ссылка! Но, дорогой мой, меня и так тошнит от вашей науки. А от науки по договоренности меня рвет!

— Адмирала Нельсона тоже рвало, он же выигрывал лучшие морские сражения. Представь себе, матрос приносил ему на мостик специальную шайку.

— Ясно. Значит, ты устраиваешь меня на работу в Сибири... Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Аля Федосеева! — воскликнул Медведев. — Может, еще и жениться подсобишь?

— А почему бы тебе не жениться?

— Пошел вон.

— Что?

— Я сказал, чтобы ты убирался! Драл когти, как говорят блатные, — пытаясь сдержать ярость, произнес Медведев. — И чем скорее, тем лучше...

Бриш взял «дипломат» и встал:

— Конечно, я не знаком с блатным лексиконом. Не посвящен. Но вот что я тебе скажу. Вернее, посоветую. Оставь в покое мою семью! Дети не виноваты.

— Твою семью? В этой семье никого не было твоего. Ты слышишь? Никого! Ты просто всех присвоил. Ины-

ми словами — украл. Ты не согласен с этой терминологией? Хорошо, ее мы не будем касаться. Она женщина. Но мои дети никогда не станут твоими детьми! Заруби эту истину у себя на носу! Никогда!

— А ты можешь размыслить здраво?

— Нет. Здраво, да еще размыслить я не могу!

— Ты, конечно, имеешь право встречаться. И по закону и так. Но рассуди сам: разве принесут им пользу такие встречи? Это же сплошные душевные травмы, это...

— Ты, разумеется, прав, — овладев собой, прервал Медведев. — В такой жизни мало хорошего. Но запомни: дважды в месяц я все-таки буду видеться с сыном! А с дочерью даже чаще, она уже взрослая.

— При одном условии...

— Никаких условий! Никаких!

— Нет, одно условие все же есть.

— Что ты имеешь в виду? — Медведев опять начал терять самообладание.

Гость не уходил, тянул волынку:

— Ты будешь видеться, если... если они этого пожелают.

— Я согласен! — сказал Медведев. — Если они пожелают!

Михаил Георгиевич наконец вышел из летней медведевской резиденции.

«Я, кажется, выгнал его, — подумал Медведев. — И у меня дрожат руки. Маруся, а ты не знаешь, почему у меня дрожат руки? Ты знаешь, конечно. Ты все на свете знаешь, даже это. А знает ли об этом твой Женя? Ты-то уверена, что он тоже знает, даже убеждена. А вот я все еще сомневаюсь...»

6

Балкон у Зуевых не закрывался целое лето, но там, вдалеке, уже не виднелся ни лес, ни поле. Подмосковный городок в отчаянной жажде самоуничтожения спешил соединиться с Москвой, раствориться в ее всепоглощающей каменной плоти. Самоуверенность этой гремящей, полыхающей жаром стихии не знала пределов. Даже на самые грозные явления природы город не обращал ника-

кого внимания, он жил по своим законам, созданным им же самим и лишь для себя.

Вечером девятого июня 1984 года плотная воздушная волна ворвалась через балкон в квартиру Зуева. Она разметала бумаги и оснастку недостроенных кораблей, опрокинула сосуды с пахучими жидкостями. Он потратил больше недели, чтобы навести в своем ковчеге прежний порядок. Об ивановской, костромской и владимирской трагедии Зуев узнал от своей сестры Светланы.

У нее тоже имелся свой ключ, хотя она и приезжала сюда реже Натальи. Иванов бывал здесь и один, но Зуев особенно радовался, когда они приезжали оба и с детьми — двумя мальчиками, для которых, собственно, и строил свои корабли...

Но эта мысль, мысль о том, для кого он строил модели, была покамест не осознана Зуевым.

Звонок, предупреждающий о приезде гостей, и возня у входа вызвали волнение, похожее на п р е д п у с к о в о е, но чувство разочарования тотчас сделало Зуева вялым и апатичным. Ивановы приехали без детей... Да, они прикатили без мальчиков, зато с Валей — сестрой Иванова, а также с обширной сумкой всевозможных бутылок. После приветствий женщины сразу же оккупировали кухню и ванную.

— Так-то ты борешься с этим злом, — съехидничал Зуев и пощелкал по одной из бутылок.

Иванов в свою очередь пощелкал по брюху одного из фрегатов:

— Так-то выполняешь Продовольственную программу. Ну что? Медведев тебе звонил?

— Обещал явиться в двенадцать ноль-ноль.

— Уже второй час! Хочу есть! — Иванов пошел на кухню, но вернулся ни с чем: — Ругаются, как будто я виноват, что хочу есть.

В ожидании приглашения за стол Зуев рассказал анекдот про молодого Медведева:

— В то время он делил людей всего на два разряда: одни, мол, с юмором, другие — без. Однажды Дима вздумал проверить, которых больше. Подходит к мороженщице, спрашивает: «Мороженое горячее или так себе?» Она как окрысится на него: «Пшел ты...» Он через два квартала к другой мороженщице с тем же вопросом. К третьей, к четвертой...

— Ну и как?

— Одна только не обругала. Милый, говорит, с самого пылу, вишь, говорит, аж пар на всю Верхнюю Масловку!

— Нашел на ком проверять!

— Он купил у нее сразу пятнадцать порций. Мы взяли две и ушли.

— Не оглядываясь, — уточнил Иванов. — Я тебе не рассказывал? Мы как-то бродили с ним по Цветному. Я говорю: «Чего ты так часто оглядываешься?» А он: «Ты знаешь, иногда мне кажется, что я дух. Бесплотное существо. Вот и смотрю, есть ли у меня тень...»

— А день солнечный был? — засмеялся Зуев.

Нарколог высказал предположение, что Предсказатель событий сегодня вообще не приедет.

Зуев сам удивлялся, почему нет Медведева. Ведь обычно-то он никогда никуда не опаздывал! Если, конечно, не считать того злополучного дня рождения Любы, на даче Зинаиды Витальевны... Зуев ясно помнил тот день и обстоятельства того дня. Его музыкальный слух не отличался особенной остротой, но «Баркарола», которую Люба играла в тот день, нередко звучала ему, особенно в часы полусонного бреда. Сейчас он подкатился к низкому стеллажу, включил проигрыватель и поставил «Времена года». Вероятно, он ставил эту пластинку чаще других... Женская реакция на музыку была своеобразной: в кухне тотчас раздался крик:

— Маль-чики!

О, этот помидорный салат с укропом и луком, орошенный золотым подсолнечным маслом! И кто устоит против рюмки холодной прозрачной водки при виде такого салата! А тут еще разогретые, купленные в терпеливой очереди чебуреки. Зуев не сознавался в том, что благодаря Наталье и довольно своеобразному стилю своей жизни становился еще и гурманом. Тем более не могла посетить его крамольная мысль о том, что годы, прожитые в том оскорбительном состоянии, оказались содержательней предыдущих.

Иванов отказался от водки. Он без всякого тоста выпил полбокала шампанского, а потом вслушивался в эти тосты с ухмылкой:

— Поразительно, с каким умением зло приспосабливается к обстоятельствам...

— Ты... опять об этом? — Зуев пощелкал по бутылочному стеклу.

Иванов сказал:

— Есть великолепный кавказский обычай. Говорить больше, чтобы меньше пить. Отсюда и обилие тостов. У русских же было принято пить до дна, но всего один раз. Представляешь, что получается, когда обычаи разных народов сливаются?

Валя сунула вилку в руку своего брата:

— Сашка, не будь занудой, ешь чебуреки! Они ж остывают.

Женщины продолжали разговор о Медведеве и Любе. Оказывается, они знали предмет обсуждения значительно лучше Иванова.

— Почему он не женится? — удивлялась Светлана.

Наркологу не хотелось долго думать, и он сказал:

— Медведев слишком брезглив. На молодой стыдно, а надкушенный пряник его не устраивает.

— О боже! — возмутилась сестра Валя. — Как будто сам-то он не надкушенный!

— Именно потому он и не женится. Такие, как он, никогда не повторяются.

Сестра уже не слушала, говорила свое. Некоторые подробности Иванов воспринимал с выпученными глазами.

Медведев ходил с дочкой в Большой театр и встретил там Михаила Георгиевича под ручку с Любой. После спектакля они будто бы разменяли дам, вернее, Люба попросила мужа отвезти дочку домой, сама же пошла провожать Медведева, а Михаил Георгиевич при этом будто бы спросил: «Уже поздно, у тебя есть на такси?»

— Нет, он сказал это не жене, а Медведеву, — перебила Валю жена Светлана. — А самое интересное, дома она не ночевала...

Смех и сама тема разговора были неприятны Иванову, поэтому входной звонок прозвучал очень кстати. Нарколог покашлял многозначительно:

— Вот. Спросите у него сами, что, кто и кому сказал. Это наверняка он. Легок на помине...

Жена и сестра Иванова открыли дверь.

— Дорогие мои! — театрально, но вполне искренне возгласил Медведев и по-медвежьи, с поднятыми руками, пошел на дам. — Как я рад... Братцы, привет... Как?

Иванов пьет шампанское? Разве ты еще не объявил голодовку во имя сухого закона?

— У меня была уже голодовка, — сказал Иванов, пожимая твердую медведевскую ладонь. — По твоей милости, но я ее не выдержал, слопал целых три чебурека. Ты почему опоздал?

Лицо Медведева мигом переменилось. Он прикусил, как всегда, губу, оглядел застолье, каждого в отдельности:

— Ты помнишь того парня? Виктор который. Мы вместе монтируем нашу сушилку. Вернее, монтировали...

— Он мне сказал, что строит установку для производства тяжелой воды...

— Его увезли сегодня на «скорой помощи», а сдали почему-то в милицию.

— Пил? — спросил Иванов.

— Нет. Впрочем, не знаю. Не выходил на работу, вел себя непонятно... Он стал таким после этого самого смерча.

— Налейте же человеку! И штрафную! — возмутился Зуев. — Пусть расскажет по-человечески.

— А что рассказывать? Директор послал его на грузовике в Ивановскую область. Уехал рано утром и... не вернулся. Ни он, ни шофер. Наутро запросили Иваново, а там такое творится, что... Привезли их только на третий день. Оба в бинтах. У шофера нога сломана. Виктор был цел, но весь в синяках. Рассказывает, что у них на глазах груженую машину какая-то сила легонечко подняла с дороги. Метров эдак на пять вверх, скрутила ее, как белье при выжимке скручивают, и обронила. Их тоже подняло. Виктор выкарабкался из обломков и давай шофера вытаскивать. Машину вместе с ними опять кувырком. Тут он отключился...

— А дальше?

— Дальше он ничего не рассказывает. Шофер говорит, что видел, как в воздухе летели голые трупы. Людей будто бы рвало на части. Дома, крыши, машины летели вместе с покойниками.

После зловещей и долгой паузы Иванов спросил:

— Он что, лежал все эти дни?

— Лежит, если уложишь. Сидит, если усадишь. И молчит. Как будто вспоминает что-то. Может, он действительно вспоминает?

— Какой ужас, — сказала Валя.

— В мире есть вещи, которые надо немедленно забывать! — жестко сказал Иванов. — Иначе человеку нечего тут делать.

— Что ж... — Медведев поднял бокал с рислингом. — Выпьем в честь... забывчивости. Или за ликвидацию последствий? Валя, я бы не отказался от парочки чебуреков. Хоть это и не русское блюдо.

— Пока ты не расскажешь об одном деле, ты ничего не получишь, — сказал Иванов. — Валя и Света, бегите ближе. Мы узнаем, что сказал Бриш, когда Люба пошла провожать Медведева!

— Что ты мелешь, дурак? — разозлилась сестра нарколога.

— Он совсем пьян! — хором воскликнули обе покрасневшие женщины. Они набросились на Иванова чуть ли не с кулаками...

— Дамочки! Тише. — Зуев, едва сдерживая смех, звенел вилкой о свой пустой хрустальный бокал.

Иванов по-дурацки втягивал голову в плечи. Медведев хохотал от всей души:

— А чего ж не сказать? Скажу.

— Я ничего не хочу слушать! — сказала Валя и выбежала.

За ней так же демонстративно последовала Светлана.

— Ну вот, — удрученно сказал Иванов.

— Издержки эмансипации, — добавил Зуев.

— Жена да убоится мужа? Так? — послышалось из коридора.

Медведев крякнул и пошел успокаивать дам. Он не скоро привел их обратно.

— Они говорят, что вы домостроевцы.

Зуев возражал:

— Я, например, строю модели, а не дома.

— Значит, ты судостроевец? — Медведев подал Вале пустую тарелку. — Валя, салат королевский...

— Это не наша заслуга, — сказала Светлана. — Это Наталья.

— А где Наталья? — спохватился Медведев.

— Она по-прежнему тебя боится, — сказал Зуев. — Когда ты приезжаешь, она прячется в сарайку.

Небольшая стычка, спровоцированная наркологом, еще больше сплотила дружескую компанию. Еды не хватило. Светлане пришлось жарить яичницу с колбасой, де-

лать новый салат. Одновременно она рассказала, как сидела вчера в президиуме собрания:

— Я просто не знала, куда глядеть! Будто на выставке.

— Слушай, а кто придумал президиум? — спросил Иванов Медведева. — Якобинцы, что ли?

— Не знаю, братец. Знаю, что это гениальное изобретение. Все нобелевские лауреаты не стоят мизинца этого изобретателя. Наверное, это был не простой смертный...

Разговор зашел о притворстве, об игре и неискренности. Иванов обозвал артистами женщин, а Медведев доказывал, что притворщиков больше среди мужчин, что работа, особенно руководящая, — это та же сцена.

— Все придумано. Не зря говорят про артистов: «Он живет на сцене».

— Значит, и все человечество — это театральный ансамбль, — сказал нарколог, — только живет не на сцене, а на земле. Оно играет, а бог то ли зритель, то ли главреж. Иначе зачем столько войн и религий?

— Ну, религий, пожалуй, не так уж и много, — заметил Медведев. — И суть их одна и та же.

— Одна? Нет, извини. Ислам, например, если не обязывает, то разрешает убивать иноверцев. Я уж не толкую об иудаизме...

— Ой, давно ли он начал думать о боге? — Валя толкнула локтем Светлану.

Иванов спокойно поглядел на сестру и жену. Он продолжал:

— Не знаю, как насчет бога, а дьявол есть, это уж точно. Я ощущаю его везде и всегда.

— Как? — Зуев поднял костыль. — Это, наверно, я. Я ведь тоже хромой. Даже на обе ноги...

Но Иванов не был намерен шутить:

— Существует могучая, целеустремленная, злая и тайная сила, ты что, не знал? И мало кто сознательно выступает против нее.

— Ерунда! — вспылил Медведев. — Персонификация дьявола на пользу только самому дьяволу. Вспомни гоголевского Хому! Он погиб, потому что струсил и поверил во зло. Нечисть тогда только сильна, когда перестают ее игнорировать.

— Иными словами, мы ее сами создаем, так, что ли? — насмешливо заметил нарколог.

— Может, и так. Зло бессильно, пока не воплощено. А можно ли воплотиться тайно от всех?

— Я не сказал, что от всех... А воплотиться очень даже легко.

— Во что?

— Да во все! В эпидемию гриппа хотя бы. Или в бомбу Теллера. В войну между Ираном и Ираком, в эту вот штуку, наконец.— Иванов постучал по бутылке вилкой. — Ты знаешь, сколько у нас дебилов рождается?

Медведев для всех неожиданно согласился:

— Ты прав, я сдаюсь! Теллер, когда придумал водородную бомбу, сказал, потирая руки: «Только господь бог может сделать лучше». Каков жук, а? Как будто бог тем только и занят, что делает бомбы. Дьявольщина — это прежде всего демагогия, а демагогия — дьявольщина. На Западе дьявол использует в своих целях деньги, у нас — бюрократию...

Иванов ясно видел в Медведеве неукротимую, лежащую втуне проповедническую силу. «Ему бы сейчас кафедру,— думал он о приятеле.— И аудиторию человек бы на тысячу. Он бы легко поволок за собой всю эту тысячу, он бы потащил невероятно объемистую идеологическую ношу. Нет, он не рожден инженером, он пророк!»

Медведев говорил быстро, напористо, махал в такт вилкой, успевая жевать:

— Мировое зло прячется в искусственно созданных противопоставлениях. Экономических, культурных, национальных. Принцип «разделяй и властвуй» действует безотказно. Он незаменим не только относительно людей, но и относительно времени. Даже время мы разделили на прошлое и будущее! Настоящего как бы не существует, и это позволяет твоему дьяволу придумывать и внедрять любые теории, любые методы. Например? Например, разрушение последовательности. Оно проходит всегда безнаказанно, потому что результаты сказываются намного позже. Как? Господин судостроевец, это так просто! Поверхность, допустим, уже покрыта лаком, а деталь передают другому, и тот начинает ее строгать. Или, не изучив арифметику, приступают к алгебре, в результате человек не знает ни то ни другое. Взгляни вокруг трезвым оком и не спеша, ты сразу узришь... С разрушением последовательности исчезает ритм, а с ним исчезает и красота. В сущности твой дьявол, Саша, ужасно антиэстетичен!

Светлана и Валя, не сговариваясь, посмотрели друг на дружку. Им было немного смешно, мужчины даже не глядели на них. Разговор пошел по второму кругу.

— Я тоже терпеть не могу тайн, — сказал Зуев. — Но говорить в открытую о постельных делах, о своих зубах и желудках...

— Вот-вот! — поддержал Иванов шурина. — Об этом-то говорят все. В молодежных газетах уже появились сексуальные обозреватели. Сексологи пошли по Руси, сексологи! В Вологде, я слышал, медики открыли службу семьи. У женщин кисточкой ищут эрогенную зону...

— Не может быть! — фыркнул Медведев. — Неужто дошло до таких мерзостей? Феноменально! Но я говорил о другой мерзости — о мерзости организованных общественных тайн. О двойниках. Что такое свобода? Это не тайна. Это открытость, нераздвоенная душа.

— Даже в камере? — подковырнул Иванов.

— Даже в оковах! Нераздвоенный человек может сидеть в тюрьме, но он свободней раздвоенных, тех, кто зависит от тайных и нетайных организаций.

Зуев попросил налить, взял бокал:

— И все же почти все предпочитают духовную несвободу физической...

Иванов перебил:

— Не все, Славушко, не все. Уж лучше погибнуть в атомной схватке, чем жить по указке дьявола!

— Я не уверен, что ты прав, — сказал Медведев задумчиво. — Максимализм тоже выгоден дьяволу...

Женщинам наконец надоели рассуждения о дьяволе. Одна за одной они незаметно перебрались на кухню. Светлана ошпарила кипятком грязные тарелки, заглянула на балкон, заваленный досками.

— Он еще не прописан в Москве? — спросила Валя, усаживаясь в старое, потрепанное, но еще очень удобное кресло.

— Ты о ком? — засмеялась Светлана. — Если Медведев, то, по-моему, нет. А про дьявола я не знаю.

— Шумит наш мужичок, шумит, — проговорила Валя насмешливо. — Откуда что и берется у моего братца?..

— Пусть шумят, лишь бы сильно не пили. — Светлана подводила перед зеркалом брови. — Саша последнее время совсем дерганый.

— А ты не пускай его в компании. Пусть сидит дома, с детьми. Ты с кем их оставила? А знаешь, мои девочки сами уже управляются. Приеду с работы — даже выстирано. Нет, что ни говори, а с мужиками мороки больше...

— Валечка, и без них тоже нельзя.

— Смотри-ка! — Валя открыла шкаф. — У твоего брата порядок на кухне. Она что, все еще ездит к нему?

Светлана говорила с золовкой о детях и о деньгах, когда подвыпивший Зуев торжественно въехал на кухню. Следом, продолжая спорить, явились еще двое.

— А, вот они! — шумел Медведев. — Пусть сами они и скажут.

— Они не скажут, — заявил Иванов.

— Валя и Света, разрешите наш спор...

И Валя и Света глядели то на одного, то на второго, то на третьего.

— По-моему, Зуев прав, — гудел Медведев. — Все воспитатели хором твердят: не торопитесь вступать в брак, выбирайте хороших... Ладно, а куда деть плохих? Ведь на всех же никогда не хватит не только хороших, но и посредственных. И если уж поженились... каждый должен тащить свою ношу... Какая б она ни была, а она твоя.

— Да ведь я то же и говорю! — сердился Иванов. — «Литгазета» пишет: развод нужен для детей, чтобы они, мол, не страдали и не портились при виде родительских неурядиц.

— Какая же демагогия! А они спросили самих детей? Самая скандальная семья для ребенка лучше, чем никакая.

— А вновь созданная?

— Для ребенка?

— Да.

— По-моему, для него это еще хуже.

— Послушаем, что скажут женщины!

Но Валя и Света лишь снисходительно улыбались, слушая перепалку.

— Женщины? — Нарколог обнял левой рукой сестру, правой — жену. — Нашим дорогим женщинам внушают, что они не свободны. Закабалены тремя «ка». Киндер, кухня, кирка... А для многих дурочек свобода и нравственная распущенность — это одно и то же. Я благодарю судьбу за то, что моя жена и моя сестра не такие!

— Ну, хватит! — Валя сердито освободилась от руки брата.

— Терминология вообще великая сила,— заметил Медведев.— Общежитие, маршрут, вахтовый метод, лагерь. Казарма, полигон, территория. Согласитесь, что среди этих понятий женщине с ребенком не очень уютно.

— Конечно! — Нарколог оставил сестру, но еще крепче обнял жену.— Братцы, а вы не заметили, что у нас с Зуевым всего по одной сестре? А братьев вообще нет. Ни у меня, ни у Славки.

Иванов осекся, вспомнив Медведева.

— Чтобы уничтожить какой-нибудь народ, вовсе не обязательно забрасывать его водородными бомбами,— сказал Медведев.— Достаточно поссорить детей с родителями, женщин противопоставить мужчинам. Не так просто, но возможно.

— Еще надежней вот это! — Иванов налил шампанское и выпил один, залпом.

Жена и сестра глядели на него, одна с недоумением, другая с ехидством.

— А сколько других приемчиков? — не унимался Иванов. — «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет». Это любимая поговорка Мишки Бриша. Нашего общего друга. Однажды я понарошку сказал ему, что Христос не еврей. Конечно же Миша немедля присобачил мне здоровенный антисемитский ярлык. А ведь еще за минуту до этого доказывал, что никакого Христа вообще не было! Нет, какова логика, а? Кстати, за что вы так его прозвали? Идущий, так сказать, впереди...

Медведев говорил о чем-то с Валей не слушая, поэтому Иванову пришлось повторить вопрос. Медведев сказал:

— Не помню, наверно, за то, что он всегда седлает т р е т ь е г о скакуна.

— Что значит третьего? Не понимаю.

— Я имею в виду гегелевскую триаду. Пока мы с тобой едем на тезе и на антитезе, он уже шпарит на синтезе. Как только синтез становится новой тезой, он тут же покидает это седло и пересаживается на свежую лошадь.

— А мне надоела эта полярность.— Иванов начинал задираться.— Это вечное противопоставление: плюс — минус, тезис — антитезис. К черту Гегеля!

— Хочешь к батьке Махно?

— Да! Я поставил бы Нестора в союзный Госплан.

Чтобы разрядить обстановку, Зуев сказал:

— А в Госплане знают, куда используются столовые салфетки? Туалетная бумага продается, говорят, на доллары в «Березке», в гостинице «Украина»...

— В Госплане тысячи служащих! Достаточно перепутать две какие-нибудь фитюльки, и одна шестая мировой суши сидит без мыла. Либо — без простынь.

— Если б я был директором, — продолжал Зуев, — я бы сразу отменил синтетические носки. И еще наволочки без пуговиц. Господа, в каком НИИ придумали наволочки без пуговиц?

— Погоди, погоди... — остановил Зуева Медведев. — Мы хотели послушать женщин, что они думают о разводе.

— Они ничего не думают, они просто разводятся... — не по-хорошему засмеялся Иванов.

Но даже и это не вывело из молчаливого состояния его жену и сестру. Обе деловито и весело носили посуду.

— И чего это мужчины стали такие болтливые? — сказала вдруг Валя, поглядев на Медведева. — Вместо того чтобы действовать... болтают о вреде пьянства... А ведь ни один не скажет: «Всё! Я больше не беру в рот этой гадости».

Медведев с любопытством слушал.

— И вот языком болтают, вот болтают! Хуже базарных баб...

— Хорошо, — вдруг встряхнулся Медведев. — Валя, я готов перейти к делу. Будьте свидетелем! Я вызываю мужчин на соревнование. Я утверждаю, что никогда больше и нигде не возьму в рот ни капли таких жидкостей...

Он выплеснул за балкон недопитое шампанское.

— Саша, ты хочешь пари?

Нарколог посмотрел на Зуева. Зуев поводил в воздухе правой ладонью, дескать, «я — пас». Светлана с любопытством смотрела то на мужа, то на Медведева.

— Это, конечно, провокация, — задумчиво произнес Иванов. — Но я согласен, я обещаю... тоже...

— Руку? — Медведев в упор смотрел на нарколога.

— Это не так просто, — смущенно пробормотал Иванов. — Для этого надо уезжать из Москвы...

— Ерунда! — воскликнул Медведев. — От себя-то ты никуда не уедешь.

И тогда Иванов решительно подал руку, и обе руки

сцепились пальцами и сжались, словно в каком-то соперничестве.

— Зуев! Скорей разбивай! — хохотала и хлопала в ладоши Валя. — А то раздумают.

— Вы бы подумали сперва, деятели! — Зуев пытался вразумить спорщиков. — Смотрите, мне что... Постой, а что, если кто-то не выдержит?

— Тогда Валя будет права! — тихо сказал Медведев. — Мы не мужчины, а бабы с Тишинского рынка...

И Зуев ударил ребром ладони, разбивая роковое рукопожатие.

7

На следующее утро Иванов приехал на работу раньше обычного, потому что запланировал множество дел в городе. Дежурная сестра подала ему медицинский дневник:

— Александр Николаевич, больной из третьей палаты сегодня не спал.

— Я, кажется, просил, — мягко остановил ее Иванов, — и сейчас тоже прошу не называть комнаты палатами, а больных — больными.

— Но... извините, как же их называть? — в который уж раз запротестовала сестра. — Как обращаться к ним?

— Как угодно! Называйте по имени, говорите: товарищ такой-то, гражданин, месье или сударь, не так важно. Только не называйте больными.

— Хорошо. — Было видно, что она не согласна. — А больной... простите, один гражданин из пятой палаты требует поставить телевизор и телефон...

— Я зайду к нему. Проведите музыкальный сеанс без меня. И если можно, смените пластинку.

Иванов поморщился. Его борьба с медицинскими терминами, наверное, выглядела донкихотством. Больница была больницей. Записи в журнале дежурств вновь со всей силой подтвердили правоту дежурной сестры.

Итак, больной, который не спал. Алкогольное отравление удалось ликвидировать довольно быстро. Физическое состояние более или менее в норме. А вот душевное... Нарколог перестал удивляться разнообразию всевозможных синдромов и фобий, связанных с хроническим пьянством. Конечно, синдром ревности по-прежнему за-

нимает в их числе первое место. Большинство классических алкоголиков щеголяет с этим синдромом, но иногда он угнетен, задвинут в отдельный угол сознания, и место его занято новейшей фобией. Больной из третьей палаты ждет по ночам водородной вспышки... Почему именно по ночам? Вероятно, потому, что днем вспышка была бы менее яркой. Иванову было не ясно, что появилось вначале: бессонница, вызванная алкогольной интоксикацией, или страх атомной катастрофы, вызванный бессонницей. Вновь корреляция. И что ни толкуй, а без медицинских терминов ни туда ни сюда... Кстати, разве не реальна сама возможность атомной вспышки? Больной из третьей палаты вправе считать ненормальным не себя, а других. Тех, кто, по сути дела, задвинул атомные грибы в область фантастики...

Размышления Иванова были прерваны каким-то необычным шумом. Нарколог вышел вначале в прихожую, затем приоткрыл дверь в коридор. У входа в одну из палат громко выяснялись какие-то отношения, сестра тщетно пыталась установить тишину.

«Опять этот бритый профессор...» — улыбнулся Иванов. В ту же минуту нарколог стал свидетелем редкого происшествия. Человек в домашней пижаме и в тапочках вырвался из окружения и кинулся бежать в направлении ивановского кабинета. Бежал он так проворно, что несколько более молодых преследователей не успевали за ним. Иванов пропустил профессора в кабинет, прикрыл дверь и встал на пути двух недавно поступивших лимитчиков:

— В чем дело?

Они, ни слова не говоря, моментально сбавили пыл. Развернулись и один за другим, словно набезобразничавшие мальчишки, шлепая тапочками, удалились. «Опять не могли решить крестьянский вопрос, — подумал Иванов. — Профессор слишком буквально толкует основы политэкономии».

— Александр Николаевич? — услышал Иванов громкий шепот. Профессор выглядывал в приоткрытую дверь ивановского кабинета. — Они ушли? Этим хулиганам не место в приличной больнице. Их место в другом месте.

Иванов вошел в кабинет. Увидев испуганное лицо и белый глянец черепа, нарколог повернул ключ в дверях. Только после этого пациент успокоился.

— Понимаете, эти мерзавцы хотели меня бить! — сказал профессор.

— За что же? — Иванов покашлял, чтобы не расхохотаться.

— Александр Николаевич, помните, мы были с вами во Франции? Я им целое утро доказываю! Вандея и Дон одного и того же порядка, что кулацкая идеология...

— ...довела до кулачного боя! — прервал Иванов. — Прямо в коридоре больницы!

— Шутки шутками, Александр Николаевич, но я уже не в том возрасте, чтобы драться. Они ушли?

— Идемте, я вас провожу...

Шуаны, или соседи профессора по палате, дружно приветствовали доктора. Надо было срочно заняться ими. Но Иванов ждал аналитических результатов. Он еще раз успокоил профессора и предупредил его обидчиков, что при первом же замечании выпишет из больницы.

— У вас разве больница? Мне говорили, что санаторий! — подковырнул один из парней.

«Еще один быстроумец», — не отвечая, подумал Иванов.

Оставшись без поддержки, бритый профессор опасливо огляделся и... пошел было вслед за наркологом, но один из лимитчиков загородил ему дверь.

— Что? — снова перепугался профессор. — Почему вы меня не пропускаете? Что вам надо?

— Чш! — парень приставил палец к губам. — Вы арестованы! Предъявите документы. Если вы настоящий профессор, мы не будем вас задерживать. А если поддельный... Справочку, справочку! Живо!

Только теперь бритый профессор начал понимать особенности рабочего юмора. «Все живые организмы имеют дырочку для клизмы», — пропел лимитчик. Он уже пробовал плясать чечетку. Бритый профессор глядел на него с восхищением и страхом.

Везде имелись свои лицедеи, уж так издавна повелось в столице, почему бы не быть им в среде лимитчиков? Впрочем, в профессорской палате из этого нового московского сословия имелось всего двое. Сухощавый брюнет, сосед профессора по тумбочке, он же мастер од-

ного из заводов, считал себя коренным москвичом. Он редко вступал в разговоры, читал да читал Юлиана Семенова. Даже ночью. Один он на сеансах гипнотерапии никогда не блевал: ведро его, подставляемое к изголовью топчана, всегда выносили сухим. Когда молодой чернобородый гипнотизер после долгих и вкрадчивых внушений переходил наконец на крик и начинал перескакивать от одного к другому, прыская из пульверизатора в рот и в нос этиловым спиртом, мастер только фыркал. Он спокойно садился на топчане и на ощупь искал ногами тапочки. Другие в это время изрыгали остатки больничного завтрака...

После сеансов гипнотерапии лимитчики, не теряя времени, восстанавливали потерянные калории за счет передач. «Боря? — удивлялся артист (может быть, он и был настоящий артист, хотя и работал такелажником). — Ты почему не блюешь? Это же неприлично в конце-то концов. Хоть бы разок нарочно рыгнул, уважил бы чернобородого мага».

Мастер Боря не отвечал. Тогда артист из лимитчиков забывал про домашние помидоры, вскакивал, быстро превращал синий застиранный халат в тогу, выставлял правую ногу вперед и принимал позу римского сенатора. В таком виде ему легче вещалось. Самые крамольные истины, от которых бритый профессор только ежился, ерзал и открякивался, низвергались тогда на слушателей. И даже худощавый брюнет Боря на минуту забывал свое детективно-шпионское чтиво. Но, накидав как бы мимоходом всего, новоявленный диссидент без всякого перехода заканчивал свою лекцию весьма неожиданно: «Скажите, какой смысл обедать и завтракать? Учтите, моему организму тоже нужны белки! Я публично отказываюсь блевать! Подумаешь, гипнозист! Да я его сам загипножу! Пусть не тратит напрасно свой первосортный спирт! Советские люди не допустят, чтобы зеленый змий попал в Красную книгу!»

Профессора даже подбрасывало от возмущения. Казалось, он вот-вот побежит куда-то звонить. «Вот вы! Совсем еще молодые люди! По сравнению со мной, конечно! Почему вы-то оказались в больнице?» — «Потому, — отвечал второй лимитчик, носивший рыжие баки. — Потому, что мы идем к своей цели намного быстрее». — «Во-вторых, век космических скоростей, — подхватывал

артист. — В-третьих, мы все делаем за двоих, и пьем и вкалываем. За себя и за того парня. А он, понимаешь, спиртом в нос... Да возьми хоть слона, и того вытравит! Нет, я чихал на эти сеансы...» — «А сколько у вас заработок? — не унимался профессор. — Вот у вас лично?.. И что говорит жена, когда не приносите денег?» — «Моя жена старше вашей. Она говорит: я сама заработаю».

Профессору было бы лучше, если б он не начинал разговора о женах. Раз в неделю его навещала супруга, совсем молодая женщина, и артист не упускал случая подшутить: то ее называл он дочкой, то его называл тятей. Она приходила обычно в то время, когда профессор смотрел в холле телевизор, и сразу у них возникала конфликтная ситуация. В конце встречи супруги начинали кричать друг на друга. «С чего бы это? — задумчиво говорил лимитчик с рыжими баками. — Ну им-то чего не хватает? Ладно, моя орет. А эта чего шипит? Как шина проколотая». Артист терпеливо объяснял, отчего злится профессорская жена: «Ты что, не видишь? Он как неопытный новобранец: все патроны расстрелял в молодости. Теперь остался без боеприпасов».

Однажды, после того как профессор посмотрел телевизор, лимитчики решили вылечить его от импотенции...

«Значит, так, — дирижировал артист. — Сначала мы его загипнозим... Дальше ты будешь внушать в левое ухо, а я — в правое, так?»

Сухощавый брюнет Боря впервые обратил на них внимание и, отложив Юлиана Семенова, с любопытством слышал: «Усыпляем, после внушаем: вы здоровы, профессор! Как бык! Вам никогда и нигде не надо бояться! Бор-р-ря? Я вижу, ты тоже хочешь участвовать. Ну, втроем-то мы его так загипнозим! Он уснет как цуцик, никакое сообщение ТАСС не разбудит. А то, понимаешь, моей зарплате завидует... Приготовились!»

Профессор, ничего не подозревая, вернулся из холла, прополоскал у крана искусственные челюсти и улегся в кровать. Артист подсел поближе и начал, не мигая, глядеть ему в глаза. «Что вы так на меня смотрите?» — удивился профессор. «Расслабились! — «гипнотизер» начал водить ладонями над большой бритой профессорской головой. — Тело расслаблено! Дышите глубже! Хорошо. Вам очень спокойно. Не думайте. Вы ничего не должны думать, вам хорошо. Вы спите. Вы спите. Вы...» — «Да не

будет он усыпляться! — не выдержал тот, что с рыжими баками. — Он же часа полтора днем дрыхнул! Так храпел, что дребезжали стекла в окне». Профессор и впрямь «усыпляться» не пожелал, побежал жаловаться дежурной сестре...

Такие либо подобные этому случаи происходили каждодневно, но сегодня спор между профессором и лимитчиками разгорелся всерьез и без скидок. Артист доказывал: если жена зарабатывает больше мужа, мужу ничего, кроме пивной, и не остается. Жена, если сама не прикладывается, бежит в партком, тогда муж заводится еще больше.

Профессор возразил:

— Возьми и заработай больше жены! На то ты и мужчина.

— Мужчина? — неожиданно заговорил сухощавый брюнет, читавший Юлиана Семенова. — Да ведь у заработка есть потолок! Выше не прыгнешь.

— Вот именно, дорогой профессор, — артист говорил сегодня без всякой иронии. — Как только я сделаю больше, меня — бемс! И срезали. Да еще и нормы выработки пересмотрят.

— По науке, решающее слово за механизацией, — не сдавался профессор. — Нормы пересматриваются только в связи с ростом производительности труда...

— Да бросьте вы со своей наукой! — заговорили все сразу. — Наука...

— Политэкономия? Да? А хлеб по этой науке дешевле сена — это наука?

— А почему мы продаем сырье? Лес, нефть, газ? И руду тоже продаем. А оттуда-то что везем? Хлеб да синтетику на золото. Это наука?

— Да если хочешь знать, — заключил лимитчик с рыжими баками, — мы и в больнице-то из-за твоей политэкономии.

— Это еще почему? — удивился бритый профессор. — Ты пьешь, а виновата политэкономия? Ну вот скажи: почему ты пьешь?

— Потому что продают. А ты? — лимитчик перешел на «ты» еще прежде профессора. — Ежели я не буду пить, твою зарплату придется срезать.

Профессор опять побежал, вернее, пошел скорым шагом жаловаться.

— Александр Николаевич,— поймал он Иванова в коридоре.— Я еще раз прошу оградить меня от хулиганских действий! Они просто оскорбляют меня...

— Что вы хотите? — тихо и не очень любезно спросил торопившийся нарколог.

— Переведите меня в другую палату.

— Хорошо, мы учтем вашу просьбу.

— Вы понимаете, они все трое против меня. И не только против меня, они...

Иванов не успел дослушать профессора. В это время сестра сообщила, что внизу в вестибюле его спрашивает какой-то Медведев.

Иванов быстро спустился на первый этаж. Своим ключом открыл дверь в вестибюль. Медведев ждал у входа вместе с молодым человеком, находящимся в сомнамбулическом состоянии. Медведев сказал:

— Виктор, ты согласен поговорить с врачом? Это Александр Николаевич, мой давний знакомый. Помнишь, он приезжал к нам?

Виктор молча, равнодушно пожал плечами. У него был вид изнуренного человека, который силится что-то припомнить и никак не может.

На ключ закрывая за собой все двери, Иванов привел посетителей в свой кабинет.

На вопросы Виктор отвечал рассеянно и односложно, говорил только «да» и «нет». Иванов понял, что больной даже не вникал в эти вопросы, и заговорил о нем в третьем лице:

— А что, если оставить его у нас? Посмотрим, обследуем. А там видно будет.

Медведев был поражен тем, что о человеке говорится как об отсутствующем. Виктор молчал, он и впрямь отсутствовал. Но почему он усмехнулся, когда Медведев подал наркологу его паспорт и направление милиции? Эту странную усмешку заметил, конечно, и нарколог, но, видимо, не придал ей ровно никакого значения.

— Ему иногда бывает смешно! — в сердцах сказал Медведев, кивая в сторону Виктора. — А мне не до смеха.

— Что, сушилку вы не достроили? — спросил Иванов и нажал на кнопку. Он вызвал сестру.

— Уже опробована. Витя... Ты согласен лечиться? Не сбежишь? Я буду тебя навещать...

Виктор опять долго не мог понять, чего от него хотят. Он покорно пошел в приемный покой.

— Подожди, у меня есть к тебе дело,— остановил Иванов Медведева, когда тот хотел уйти. — Я скоро...

Иванов вернулся через двадцать минут. Медведев сидел на диване и нервно листал лекцию Жданова:

— Саша, откуда это у тебя? Извини, взял без разрешения.

— Прислали ребята из Сибири.

— Ты можешь перечислить главные признаки развитого алкоголизма?

— Могу, но не буду. Это долго и скучно.

— Тогда ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. Алкоголь относится к разряду наркотиков?

— Смотря кем,— усмехаясь, сказал Иванов.— Всемирная организация здравоохранения считает, что это наркотик, а Институт имени Сербского не считает.

— Мне все ясно. Теперь понятно, почему все эти голоса помалкивают насчет нашего пьянства.

— Зато о правах так называемого человека долдонят день и ночь.

— Потрясающе! — Медведев стремительно просматривал какой-то справочник. — И все эти права сводятся у них практически к одному: к свободе передвижения. Иными словами, к открытым границам... Но куда и зачем уезжать, например, нашим дояркам и трактористам? Для них важны совсем другие права...

Однако нарколог, продолжая тему, гнул свое:

— Дмитрий Андреевич, скажи, что и сколько имеют право пить ваши доярки? Я уж не спрашиваю о трактористах...

— Я бы не сказал, что они трезвенницы! — засмеялся Медведев.

— Ты вот смеешься... А еще президент Кеннеди запрещал журналистам писать о нашем пьянстве. Зачем, дескать, мешать? Пусть пьют, скорей развалятся. Выродятся, не надо никакой водородной войны...

— Джон Кеннеди? Не может быть! Откуда у тебя такие сведения? Единственный президент, которого я хоть сколько-то уважал. Может, не он?

— Он, он, успокойся. То есть и он тоже. Вместе с Никсоном, с Джонсоном.

Иванов прошел по диагонали своего квадратного кабинета, паркет под ним слегка поскрипывал. Медведев раскрыл еще одну книгу и прочел вслух:

— «...Немотивированные приступы злобной тоски сочетались с двигательным беспокойством, с аффектами гнева и ярости, состояние больных могло напоминать меланхолический раптус, проявляющийся в раздражительной тоске...» Что такое «раптус»? Ты сам-то читаешь эти опусы? — Медведев продолжал цитировать: — «Больные правильно оценивали окружающее, но эта оценка была крайне односторонней, воспринимались лишь события и факты, имеющие лишь непосредственное отношение к больным... Из окружающей действительности выбиралось только то, что импонировало эмоциональной настроенности, имело ближайшее отношение к самым интимным чувствам и переживаниям...» — Медведев рассмеялся: — Ничего себе! А что должно им импонировать? Забастовка английских шахтеров?

— Не ломай голову. Вот попадешь сюда — сразу узнаешь, что тебе импонирует.

Медведев задумался. Потом спросил:

— Как ты думаешь? Что с Виктором?

— Пока ничего не могу сказать. Я покажу его специалисту. Обследуем, выясним...

Медведев встал, собираясь уйти:

— Ты что-то хотел сказать? Доканывай!

— Хочу выступить в роли доносчика. — Иванов присел на диван. — Или старой-престарой сплетницы...

Медведев ждал со спокойной улыбкой.

— Ты видишься с сыном? — спросил Иванов.

— Саша, я не видел его ни разу в жизни...

Иванов раскаялся в том, что завел такой разговор. Но деться было уже некуда.

— С дочерью я встречаюсь, — продолжал Медведев. — Сейчас она уехала в Прибалтику на экскурсию.

— Ты в этом уверен?

— В чем?

— Ну, в том, что уехала... Я видел ее сегодня утром, — Иванов отвернулся к окну.

Медведев вспыхнул:

— Спасибо. Я понял.

— И еще учти, пожалуйста, вот что: в органах попечительства ты числишься как пьяница и рецидивист. Информация точная. Приятельница моей жены работает в райисполкоме.

— Может, я и китайский шпион? — горько улыбнул-

ся Медведев. Он резко повернулся, стряхивая какое-то оцепенение. — Ладно. Сделай для Виктора что в твоих силах. Пока!

Иванов едва успел попрощаться с ним за руку. Пожалуй, это все-таки лучше, чем ничего ему не рассказывать. Иванову было известно значительно больше. Нарколог искренне жалел Медведева. Наивный человек, ему сообщают по телефону, что дочка уехала на экскурсию, и он верит...

Иванов горячо любил поздних своих сыновей, к детям сестры его даже ревновала жена. Он видел, как пьющие мужчины то и дело бросали детей, как словно бы походя жены бросали мужчин, как всё, буквально всё везде оборачивалось против детей! Со времени похорон зятя, где Иванов снова встретил Медведева, медведевские невзгоды воспринимались наркологом как свои собственные. Его не устраивало излишнее, как он считал, спокойствие Медведева относительно сына и дочери, а самоуверенность Михаила Георгиевича просто раздражала...

Пожалуй, это раздражение началось еще с того времени, когда Бриш женился. Оказывается, развод совершается без суда со всеми, кто осужден на срок более трех лет. Тогда Иванов впервые столкнулся с брачной юриспруденцией. Усыновление Михаилом Георгиевичем детей Медведева он воспринял как личное оскорбление. Законным ли было это усыновление? Этот вопрос сильней и сильней тревожил Иванова. «Если этот пентюх, — подумал он про Медведева, — если он сам не в силах бороться за своих детей, что ж, попробуем без него... Пентюх? — Иванов сам удивился такой характеристике. — Нет, Медведев не похож на растяпу, характерец у него тот еще, закваска дай боже. Он не станет стесняться. Тогда в чем дело? Почему он бездействует?»

8

Иванов провел очередную летучку-планерку-оперативку-пятиминутку (термины снашивались, как медные пятаки) и распорядился, чтобы профессора перевели в пятую. «Это вместо телевизора, — подумал он про того, кто лечился в пятой палате. — Пусть смотрится в лысину, она тоже мерцает. А на место профессора надо посе-

лить Виктора. Классовая справедливость окончательно торжествует».

Еще в первой половине дня нарколог покинул свое, как он про себя выражался, богоугодное заведение. До метро он добрался пешком. Толпа поглотила его, втянула в узкое русло эскалаторного потока. Глядя на такой же встречный поток, Иванов старался всмотреться хотя бы в некоторые лица. Но сознание не успевало запечатлеть даже их общее выражение, не говоря уж о психологических тонкостях. И ему вспомнились слова Медведева о дефиците доброты, понижающемся по мере удаления от больших человеческих скопищ. В самом деле, как он, нарколог Иванов, может быть добр к каждому из этих людей? Ведь он не успевает даже вглядеться в каждого. Хорошо, если он сможет быть хотя бы нейтральным. Но ведь и нейтральным остаться в такой толкучке очень трудно. Место, которое ты занимаешь, ждут сразу несколько человек. Пространство, занятое тобой, кислород, вдыхаемый тобой, — все дефицитно в такой толпе... Но самый страшный дефицит — это дефицит времени. Он неминуемо переходит в дефицит доброты, это уж как закон. И тогда люди начинают играть в прятки со своей совестью. Дают, например, взятку, а себя убеждают, что это подарок. Пишут жалобу — получается донос. А когда жалуются на них, то они эти жалобы называют кляузами. Считается добротой обычное подхалимство, партизана называют бандитом, бандита — партизаном. Все навыворот! Иной журналист ругает западных наркоманов, а практически сообщает технологию приготовления наркотиков. По телевизору ругают буржуазные нравы, показывая обнаженных красоток. И получается, что миллионы подростков жадно смотрят узаконенные стриптизы. Конечно, стриптизы-то уже не от тесноты. Кому-то позарез нужна нравственная анестезия (Иванов считал себя изобретателем этого термина).

Он вспомнил, что на площади Пушкина есть специальный справочный телефон: через него можно выявить адреса юридических консультаций. Будка была не занята. Аппарат работал, и вежливые голоса назвали целых три адреса. Прежде чем заявиться по одному из них, Иванов перекусил в одном из летних кафе. Такая предусмотрительность оказалась совсем не лишней, поскольку в узком коридорчике юридической консультации в ожида-

нии своей очереди сидели человек восемь. Иванов был разочарован, но спросил, кто из них последний. Последнего, как и следовало ожидать, не оказалось, началось долгое выяснение, кто за кем, и тут Иванову уже во второй раз за день стало смешно. «Как-то там мой бритый профессор?» — вспомнил он утреннее событие.

Иванов засек время, когда в кабинет зашла очередная посетительница. (Почему-то большинство пришедших сюда были старики и пожилые женщины.) Она пробыла там более пятнадцати минут. Несложные вычисления загнали его в уныние: получалось, что придется ждать около двух часов. А что, если подняться наверх? Дверей много, а наука одна...

Испытывая почтение, даже некоторую робость перед юридическими званиями, Иванов прошел по верхнему коридору и увидел через открытую дверь чью-то симпатичную секретаршу. Иванову стало слегка жутковато от совершенно неожиданного прилива собственного авантюризма:

— Здравствуйте. Шеф у себя?

— Да, он один, — у секретарши не возникло никаких сомнений относительно личности посетителя. — Войдите.

И нарколог Александр Николаевич Иванов вошел.

За обширным и совершенно пустым столом, поставленным поперек другого длинного стола, сидел седой человек в форме юриста. Он сложил газету, которую читал, и поверх очков с любопытством посмотрел на Иванова. Иванов подумал, что секретарше тоже несдобровать, и поспешно отрекомендовался.

— Садитесь, прошу, — человек встал и указал Иванову место. — Чем могу быть полезным?

— Видите ли, — неуверенно начал врать Иванов. — Я решил обратиться лично к вам, поскольку...

— Слушаю вас.

Нет, Иванов был не такой уж плохой психолог, он знал, что ни угроза, ни лесть не действуют на должность, то бишь на кресло, но стоит обратиться к личности, стоит поставить перед ответом лично его, такого-то имярек, и угроза или шантаж становятся действенными. Но Иванов использовал сегодня не угрозу, а обычную лесть. Он доложил, как много он наслышан, как долго не решался обратиться и так далее. То, что он тут наплел, было шито

белыми нитками, придумано на ходу, это заметил и сам хозяин роскошного кабинета. Но — странное дело! — лесть все равно действовала, причем безотказно. Иванов наконец добрался до сути и заговорил человеческим языком:

— У меня несколько вопросов сразу, лучше будет, если я напишу их на бумаге. Разрешите?

— Пожалуйста.

Иванов моментально получил ослепительно чистый лист лощеной бумаги и написал:

1. Муж находится в заключении:

а) Возможен ли развод без его согласия? И как это делается?

б) Возможно ли усыновление его детей новым мужем и перемена их фамилии? Если да, то как это делается?

2. Первый муж возвращается из заключения и претендует на воспитание своих детей (дочери уже 16 лет, мальчику 8).

3. Можно ли вернуть детям их первую, отцовскую, фамилию и как это делается? Каковы права в этом случае первого и второго мужей?

Человек за столом внимательно прочитал и заговорил, как на собрании:

— Юридически все вопросы сформулированы не очень правильно, однако мне ясно, о чем речь. Итак, первое. Право на усыновление имеют все дееспособные мужчины и женщины, в том числе и тех детей, которые имеют живых родителей.

«...в том числе... мужчины и женщины, — старался вникнуть нарколог, — детей, которые... Что он бубнит?»

Параграф следовал за параграфом, а Иванов усек пока только одно: для усыновления чужого ребенка необходимо письменное согласие родного отца либо его безвестное длительное отсутствие.

Иванов поблагодарил важного юриста и ушел в раздумье. Визит оказался ненужным и скучным. Время потрачено было почти напрасно. Подумалось ему и о том, что рутина везде рутина, будь то в юриспруденции, в медицине или политике, — везде она наводит тоску. Надо выяснить, давал ли Медведев письменное согласие на усыновление. И если нет, то на каких основаниях дети Медведева носят чужую фамилию? И вообще что можно сделать?

Он решил посидеть на скамье между бронзовым Пушкиным и кинотеатром «Россия». В сквере неожиданно ожил фонтан. Мощные струи вырвались из железных дырок, сразу стало прохладней, золотистая радуга заиграла на солнышке. Увы, курильщики дымили на Иванова слева и справа.

— Наверное, вот так же чувствует себя селедка, когда ее коптят, — сказал Иванов.

Трое ребят, видимо, студенты, с недоумением посмотрели на него. До них не сразу дошел смысл сказанного.

— Гуд-бай, папашка! — пришел в себя один из парней.

Другой встал и сделал движение бедрами, то самое, что делает женщина, надевая колготки.

— Мы вас не задерживаем, — сказал третий.

Вот так... Конфронтация прямо прет и давит откуда-то, конфликты возникают тут и там, особенно в автобусах. «Куда я еду? — подумал Иванов. — Не надо давать себе обещаний...»

Когда-то Иванов, напрягая зрительную память, мог вызвать пространственный образ города. Теперь он не стал бы даже и пытаться сделать это. Система координат разрушилась, метастазы каменных скопищ расползлись во все стороны на расстояния, неподвластные воображению. «Наверное, как звездные пространства для космонавта, — подумал нарколог. — Понятий «север и юг», «верх и низ», «право и лево» не существует». Иванов пытался изловить смутную, всегда ускользающую от него связь этой непредставимости со своими и чужими семейными неурядицами. Да, Медведев прав: нравственный, может быть, даже и социальный дискомфорт (надо ж придумать словечко!) был в явной зависимости от этих неуправляемых городских пространств! Наверное, чем больше людей на единицу пространства, чем теснее они живут в физическом смысле, тем сильней отчужденность...

Иванов сошел на Каляевской, но оказалось, что ехать надо в обратную сторону. Садовое кольцо рычало, отплевывалось и фыркало бензиновым смрадом, как живое. Но он-то знал, что все это, несмотря на ужасающий шум, безлико и равнодушно. Светофоры переключались, как положено. Красный, желтый, зеленый; красный, желтый,

зеленый... Ужасающие порции металла, стекла, резины, спекшиеся в рычащие автомобильные сгустки, цепко и плотно облекшие сидящих в кабинах людей, сдвигались по сигналу зеленого глаза, набирали скорость, но, едва разогнавшись, нехотя и с еще более недовольным рычанием останавливались.

И так по всему кольцу, внутри которого копошилось малое кольцо — Бульварное, и все это вместе взятое охватывалось другим кольцом — грандиозным кольцом окружной московской дороги. Окольцованные скопища подземных и поднебесных бетонных ящиков, этих коробок с оконными и дверными дырками, не вмещались в отведенные для них окружности, выпирали и захватывали новые земные пространства...

Автобус восемнадцатого маршрута обогнул скверик у Большого театра, остановился около еще одной юридической консультации. Внизу, в подвале, пахло мочой. Вероятно, по вечерам любители пива иной раз путали двери: рядом с консультацией размещался общественный туалет. Иванов смело вошел в учреждение, решив проконсультироваться вторично. Здесь очередь оказалась еще длиннее.

Он взял бланк регистрационной карточки и хотел его заполнить. Но что писать в третьем пункте? Какую ставить фамилию? Кто потерпевший или истец? Две трети этой обширной цидулины занимали пункты о гонораре: «Количество дней на изучение», «основной гонорар», «гонорар за продолжительность», «командировочные расходы», «оплатить...», «размеры оплаты», «оплачено». Иванов скомкал бумажку и вышел на Пушкинскую.

...Зам зав роно, к кому он явился уже в конце рабочего дня, оказалась вальяжной дамой с пышной прической, промываемой, видимо, ежедневно с помощью лучших зарубежных шампуней. Когда он спросил о детях Медведева, она открыла шкаф и долго искала какую-то папку:

— Медведев? Мы готовим материал по лишению его родительских прав.

— На чем основано ваше решение?

— Он длительное время находился в заключении. В воспитании детей не участвует. Наркоман, с религиозно-мистическими наклонностями. Не имеет постоянного места жительства. А вы кто, собственно, будете?

— Я? — Иванов приходил в себя от «наркомана». На-

конец он, чувствуя удивление и уверенность в своей правоте, сказал: — Моя фамилия Иванов. Александр Николаевич. Я адвокат Медведева!

Кажется, замзавша изрядно смутилась. Она подала ему тощую папку с документами. Иванов наскоро перелистал бумаги. «Уж если заниматься плутней, то до конца», — подумал он и спросил:

— Скажите, а где он зарегистрирован как наркоман?

— Этого я не могу вам сказать, — дама снова оказалась во всеоружии, защищенная плотным бюрократическим панцирем.

— Не можете оттого, что не хотите, или оттого, что не знаете? — наступал нарколог.

— Вы можете выяснить в соответствующих учреждениях.

— Хорошо. Я выясню. Извините.

Он возвратил ей документы и вежливо попрощался.

Удрученный, умудренный, за один день постаревший, он вернулся в клинику и позвонил Зуеву:

— Знаешь, Медведева хотят объявить вне закона. Творится поистине что-то дьявольское. Я решил впутаться в это дело.

— По-моему, терять Медведеву нечего, у него давно все потеряно, — ответил Зуев.

— Как? — возмутился Иванов. — Тебе наплевать, что о нем говорят? У него же двое детей! Ему не позволяют даже видеться с ними...

— Слушай, может, приедешь? По телефону тебя нельзя даже выругать...

— За что ты хочешь меня ругать? Ладно, гуд-бай...

Иванов бросил трубку. Старшая медсестра как раз принесла результаты анализов. «Что-то сегодня очень уж оперативно!» — пробурчал он, по-прежнему недовольный и злой. Анализ крови Виктора смутил его: кровь была идеальной. Кардиограмма и энцефалограмма также оказались безукоризненными. «Что он, дурака, что ли, валяет? — вяло подумалось Иванову. — Нет, на симуляцию не похоже. Как же его лечить?» До чертиков не хотелось говорить с психиатром.

9

Конечно, нарколог ждал этого звонка, но чтобы так быстро... Бриш позвонил Иванову в тот же день:

— Ты что, нанялся в частные детективы? Поздравляю.

— Нет, я пока не детектив, а нарколог, — Иванов перекинул трубку с правого на левое ухо. — Ты можешь со мной встретиться? На какой-нибудь нейтральной территории, к примеру, у Славки Зуева?

— Зуев для меня территория не нейтральная, — возразил Бриш. — Скорее, вражеская, ты же знаешь.

— А ты не путаешь его с Натальей? — спросил Иванов. — Это ведь две большие разницы, как говорят...

— Ну, в Одессе так говорят.

— Если тебя не устраивает зуевская квартира, я согласен на ресторан «Прагу».

Но сегодня Бриш не был расположен к шуткам, он всерьез воспринял слова нарколога:

— Платить пятьдесят рублей за один рыбный обед? Смешно! Лучше пропить эти деньги дома у моего ассистента.

— Согласен, — сказал Иванов. — Записываю адрес.

— Почтовый адрес я не помню. Найдешь визуально.

И Михаил Георгиевич растолковал визуальные признаки предстоящего Иванову маршрута.

После работы минут за сорок до назначенного срока нарколог вышел из метро на Пушкинской. Дальше он решил идти пешком до Никитских.

Он колебался: заходить ли ему в магазин «Армения»? Вспомнил пари и твердо решил не заходить. У Никитских он свернул в сторону Бронной. «Визуально» действительно оказалось проще, поскольку ни на доме, где жил ассистент, ни на дверях квартиры номеров не имелось.

Иванова встретил молодой белокурый парень, почти кудрявый, в джинсах, которые едва не лопались на его девичьих ляжках. Он назвал себя Андреем, о чем Иванов тотчас забыл. Комната, куда запустили нарколога, напоминала студию посредственного художника. Какие-то нелепые фотографии, воспроизводящая аппаратура, африканские маски. На полу валялась русская прялка. Коллекция иностранных сигаретных коробок, налепленная прямо на стенку, соседствовала с плетеной клеткой для попугая. Попугая не было, но зато имелась шкура средней величины удава, свернутая в рулон, как сворачиваются пожарные шланги. Она лежала на старинной конторке.

— Садитесь! — сказал парень и придвинул к столику кресло с драными подлокотниками. — Михаил Георгиевич будет минут через двадцать.

Но Бриш приехал значительно раньше, и хозяин оживленно забегал по квартире:

— Вам чай или кофе?

Бриш поднял вверх указательный палец:

— И ушки! Хотя твой гость, Андрюшенька, принципиальный трезвенник.

Иванова покоробило, и он спросил:

— Ты имеешь в виду себя?

— Что ты! — неестественно захохотал Бриш. — Когда это я был трезвенником?

«Опять «Белая лошадь», — с отвращением подумал Иванов. — Не лошадь, а конь троянский».

Он был удивлен той быстротой, с которой появилась бутылка. Но на этот раз питье оказалось не заграничным. Все равно белая лошадка с кокетливо и бережно поднятым хвостом так и стояла в глазах. Вместо того чтобы отстранить фужер, куда Бриш налил примерно пятьдесят граммов золотисто-коричневой коньячной жидкости, Иванов, вопреки самому себе, взял посудину.

— Мы давно не виделись, — сказал Михаил Георгиевич, не дожидаясь хозяина. — За встречу!

Поколебавшись и странным образом погасив эти колебания, Иванов поднял фужер. Он был уверен, что контролирует ситуацию, и сделал неохотный глоток. Жидкость, слегка отдававшая самогоном, все же не вызвала рвотного рефлекса. Иванову было хорошо известно, как протестующе сокращался желудок от одного запаха водки. «Характер эйфории также иной, — отметил он про себя и отхлебнул снова, — она наступает медленнее...»

Но сейчас профессиональный анализ никак не совмещался с психологической обстановкой. Бриш подробно и долго говорил о своей работе, ругал начальство, плаксиво жаловался на плохую зарплату. Иванов слушал. Парень бегал из комнаты в кухню и обратно. Приятно запахло кофе.

— Вызови такси, — неожиданно попросил хозяина Бриш.

— У меня нет телефона, Михаил Георгиевич, — сказал ассистент и ладонями потер свои толстые, обтянутые выцветшей тканью ляжки.

— Сходи и вызови по автомату.

— По автомату не принимают заказов.

Бриш сделал вид, что разговора не было. Он снова плеснул Иванову и себе из бутылки. Спросил насмешливо:

— Ты, значит, выступаешь в роли медведевского адвоката?

— Если хочешь, да,— тоже насмешливо ответил Иванов. И процитировал фразу, записанную в роно: — А кому ты заказывал эту... религиозную информацию?

— Что?— дернулся Михаил Георгиевич.— Откуда ты взял?

— Там наврано. Медведев заходил в церковь не один, а вместе со мной. Так что если лишать родительских прав Медведева, то надо бы заодно и меня...

— У тебя появился ребенок?

— Даже два.— Иванов хотел было выругаться, но вместо этого снова сделал глоток и улыбнулся. — Только мне мало. Хочу, чтобы ты поделился со мной медведевскими детьми...

На лице Михаила Георгиевича появилась бледность, скулы гневно зашевелились. Нарколог чувствовал, что и сам заражается гневом, но продолжал дразнить собеседника:

— Потрясающе! Как это тебе удалось сделать Медведева верующим? Но ты немного ошибся, Миша. Для доказательства тебе надо было выбрать не мою сестру, а зуевскую жену. Наталья видела Медведева не в захудалой подмосковной церквушке. Она видела его в кафедральном соборе! В Елоховском, представляешь?

— Не понимаю, о чем говоришь.

— Да брось притворяться! — Иванов отхлебнул еще, чтобы успокоиться. — Ты великолепно понимаешь. Ну, а с чего ты взял, что он наркоман?

— Кто?

— Родитель Медведев.

— Повторяю тебе, я не знаю, о чем ты говоришь.

— Может быть, ты не знаешь и этой дамы? — сдерживая бешенство, улыбнулся Иванов. — Той, что занимается народным образованием?

Бриш деланно засмеялся:

— А ты, я вижу, не зря читал Сименона. Или это профессиональные навыки?

— Я понял намек! — Иванов допил из бокала. — Я конечно, работаю в КГБ. Наркология у меня хобби. Не иначе. А что скажешь ты? Согласись, что все это доволь но гнусно.

— Гнусно? — Михаил Георгиевич вскочил. — А устраивать за мной слежку — это не гнусно?

— Да, я согласен! — сморщился Иванов. — Гнусно и это.

— А вмешиваться в чужие дела, да еще семейные? А сбивать с панталыку детей и женщин?

— Слушай, давай не будем базарить. — Иванов не заметил, как ассистент успел добавить в бокал. — Ты же деловой человек. И ты знаешь, что советский суд...

— Он что, уже подал в суд? — перебил Бриш.

— Насколько я знаю, да, — смело соврал Иванов. — И его адвокат, кажется, не чета мне, хоть я и работаю в КГБ. Ты проиграешь процесс...

Бриш сразу обмяк, согнулся в кресле своего ассистента. Колени торчали выше журнального столика. Наркологу стало жалко этого человека. Иванов уже думал о том, что бы сказать ему примирительно-утешающее. Глаза Михаила Георгиевича беспомощно бегали из стороны в сторону, в них сквозь слезную муть светилась какая-то вековая тоска. Иванов раскаивался в своем поведении, в своих безжалостно-резких словах. Михаил Георгиевич поднял бокал:

— За русскую удаль! За ту самую, что... В общем, за русскую...

— При чем тут какая-то русская удаль?

Михаил Георгиевич продекламировал:

— «При всем при том, при всем при том, при всем при том при этом».

Иванов, не чувствуя опьянения, снова отхлебнул из бокала:

— Когда нечего сказать, начинают цитировать Бёрнса. Либо еще кого-нибудь.

— Ты ошибаешься, мне есть что сказать, — тихо возразил Бриш.

— Ну так скажи, сделай милость!

— О русской удали?

— Ну и о ней! — Иванов вновь понемногу терял самообладание. — Что ты пристал к ней?

— Удаль... Ваша удаль...

— Да, удаль! А что бы мы запели без этой удали? Чтó без этой удали был бы, по-твоему, сорок пятый? Или восемьсот двенадцатый? Мой отец в семнадцать лет пошел добровольцем на фронт! Оба мои деда погибли в московском ополчении.

Бриш тоже начал кричать:

— Не суй мне в морду эту войну! Прошло почти полвека, а твоя-то удаль скачет на тройке. Еще с гоголевских времен.

— Ну и что?

— А то, братец, что одна из лошадок антисемитской масти. Не знаю только, коренная или пристяжная...

Иванов удивленно и долго смотрел на собеседника. Потом спросил:

— Ты... это всерьез?

— Нет, я шучу! — скрипучим голосом произнес Бриш. — Меня за горло, а я отпускаю пьяные шуточки?

— По-твоему, я антисемит? — спросил Иванов.

— Пока нет, но уже с душком.

— Мишенька, все это у тебя липа... Ты ведь и сам знаешь, что липа. Кто это тебя взял за горло?

— Двести тысяч уже уехало от твоей удали!

— Ты тоже собрался ехать?

— Не твое собачье дело!

— Ну и катись! — заорал вдруг нарколог. — Скатертью дорожка! Осваивай там целину, тебе и трактор дадут. Да ведь не доедешь туда, ты застрянешь где-нибудь в Мюнхене! Если, конечно, не пустят в Америку. Впрочем, что я? Пустят! Везде тебя пустят, Миша! Везде! Ты можешь улепетывать хоть сейчас, твой народ, как ты говоришь, ждет тебя всюду!

— Мой народ, кстати, не чета твоему. Не чета. Мы дали миру стольких великих людей, что вам и не снилось! Мы обогатили мировую культуру. Нашими мифами до сих пор питается христианство, а вы? Вы — скифы, как сказал Блок. Вам вообще суждено исчезнуть!

Теперь они орали оба, слушая каждый себя и почти не слушая друг друга.

— Почему это нам суждено исчезнуть?

— Потому что вы нация пьяниц! Вы уже исчезаете! Японцев на островах больше, чем вас. Со всей вашей одной шестой... Ваши женщины разучились рожать! Ха-ха! Не желают, и все тут!

— Пшел ты...— Иванов обессиленно откинулся в кресле. — Пшел ты знаешь куда?

Его трясло от возмущения и возбуждения. В левой руке он держал пустой фужер. Другая рука судорожно шарила около галстука. Неожиданно Иванову стало смешно: «Что со мной? Надо остановиться. Это черт знает что...» Он встал, распахнул окно.

Колодец двора кренился то влево, то вправо. Мелькали балконы и окна. Иванов перегнулся через подоконник. Остовы многоэтажных зданий обрамляли внизу пятачок земли, покрытый асфальтовой коркой. Иванов почувствовал себя так скверно, таким отвратительным показалось ему все происходящее, что захотелось исчезнуть скрыться, уйти...

— Вы читали книгу «Аз и Я»? — словно во сне услышал нарколог.

— Не читал и не собираюсь! — очнулся Иванов.

— Ну и напрасно,— сказал ассистент.— Я бы мог дать. На время.

— Ни на время, ни постоянно этой макулатуры мне не надо, понимаете?

— Понимаю! — Ассистент как-то неожиданно повеселел, словно обрадовался.

Только сейчас Иванов сообразил, что Бриша давно нет.

— Александр Николаевич, алкоголь кончился, — ворковал ассистент.— Если вы не против, можно зайти к приятелю, тут совсем рядом. У него всегда недурные напитки. Как?

Он посмотрел на Иванова, явно испытывая его. Карие глаза ассистента смеялись и словно бы говорили: «Ты не пойдешь со мной, старина. Ты поедешь домой, это не для тебя, ты уже старенький...»

— Хорошо,— назло себе и всему миру сказал Иванов. — А как звать приятеля?

— Он ваш тезка.

— Тоже кибернетик?

— Что вы! — засмеялся ассистент и нашарил в кармане ключи. — Он биолог.

Они влезли в тесный ящик лифта, а когда тронулись вниз, Иванов ощутил тошноту. Время с этой минуты, как

осознал он намного позже, пошло рывками. Память, словно опытный киномонтажер, безжалостно выбросила довольно длительные, но вялые куски, зато другие места запомнились очень явственно. Забылся весь путь от квартиры бришевского ассистента до порога биолога Саши, запомнилась квартира в старом доме. Старичок в подтяжках, то ли дядя, то ли дедушка биолога Саши, полюбопытничал чуточку и исчез в глубине обширных владений. Зато пришел жирный бульдог. Собака у всех мужчин обнюхивала ширинки. Появился коньяк, запахло жареным луком. Зазвучала безукоризненная запись Перголези, она безукоризненно воспроизводилась безукоризненной японской аппаратурой. Кресло стояло точнехонько в том месте, где действие стереофонического эффекта было также безукоризненным. Иванов почувствовал, как музыка словно бы проникает в него, подобно рентгеновским лучам, просвечивает насквозь, заполняя пространство и растворяя его в этом пространстве. Какая-то далекая неуловимая мысль об эмоциональной взаимосвязи музыки и алкогольной эйфории назойливо не давала покоя, но мальчишеский хор был слышнее всех мыслей. Жажда неземной, нечеловеческой красоты и, может быть, часть этой красоты и страдание от недосягаемости звучали в этом удивительном хоре. Иванов снова попытался критически взглянуть на себя, на свое состояние, но мальчишеский хор, и коньяк, и опять кофе, и разговор о боге, и даже гравюры на стенах — все это помешало ему остаться самим собой... Он помнил, что звонил сестре и домой. Жены дома не оказалось. Это опять же странным образом оправдало в его глазах еще одну коньячную рюмку...

Даже время вновь улетучилось. Оно появлялось рывками, то в образе троллейбуса на втором московском маршруте, то в образе серого здания на Сивцевом Вражке. Андрей, а затем и Саша-биолог то и дело уходили на задний план, исчезали, но появлялись какие-то новые, даже некурящие юноши, девушки с накрашенными ногтями, в вельветовых брюках.

Шумная компания в какой-то арбатской квартире швырнула нарколога далеко вспять, во времена его студенческих лет. Он пил, курил, болтал с какой-то отрешенно-грустной девчонкой, а с другой пытался даже плясать под оглушающий рев тяжелого рока. Две большие

магнитофонные катушки перетягивали друг с друга бесконечно нудную ленту, по голове били низкие барабанные удары, высокие взвизги просто вонзались в мозг.

И вдруг что-то отрезвило Иванова на одну лишь секунду, что-то осветило все это грохотание и всю толчею. «Какая мерзость! — сказал он вслух. — Мерзость». Однако ж он вновь окунулся в этот грохот, спорил с кем-то о дискотеках, сравнивал их с кабаками и называл рок и всю эстрадную нынешнюю музыку звуковым наркотиком. После того спора из памяти исчез достаточно большой временной кусок. Иванов оказался во дворе, на улице...

Сильный удар сзади в затылок сбил его с ног. Он упал на живот, ухитрившись сохранить от ушиба нос и зубы. Он не сразу сообразил, что случилось, а когда сообразил и попытался встать, то никого вокруг уже не было. «Ах, гады...» — бормотал он, пытаясь встать.

Отвратительное ощущение, сложенное из беспомощности, унижения, обиды и еще чего-то, трудно осознаваемого, еще больше охватило Иванова, когда двое дружинников подняли его и взяли под руки. Он говорил им что-то, они молчали и улыбались. Словно по мановению чьей-то палочки дружинники сменились милиционерами. Дверь машины захлопнулась. Решетка, отделявшая «салон» от водительской кабины специализированного «уазика», вызвала у нарколога улыбку, но чувство юмора не успело вернуться к нему в своем полном объеме.

Заведение, куда милиционер сдал нарколога, не вызывало двух толкований. Ему стало смешно, когда его удостоверение и деньги перекочевали к толстой женщине, облаченной в белый халат. Милиционеры уехали. Стены вытрезвительной приемной были щедро украшены какими-то правилами и объявлениями, стол, застланный ватмановским листом, тоже не отличался изяществом.

— Нарколог? — удивилась женщина. — Фамилия?

Иванов попросил ее вернуть удостоверение. Она не ответила. С любопытством, посещавшим ее, видимо, очень редко, она разглядывала пациента и его документы:

— Значит, Александр Николаевич Иванов. Нарколог.

Матерный крик и какая-то шумная возня в соседнем помещении заставили тетку принять еще более решительный вид. Она бросила документы в сейф, закрыла на ключ и ушла наводить порядок.

Иванов огляделся. Встал и, пошатываясь, недолго думая, подошел к выходу. Он откинул здоровенный железный крюк, открыл двери. Вышел во двор, затем на улицу. Утренняя Москва поглотила его. На первой попавшейся автобусной остановке он сел в автобус, в обмен на завалявшийся пятачок оторвал билет, проехал несколько остановок.

...Он долго искал дом, где пытался сегодня плясать, тот двор, где его подняли дружинники. Но и дом, и этот двор словно бы провалились. Старый Арбат еще не был снесен до конца. Отступая под напором гигантских каменных близнецов, улочки и улицы все еще жили, дома и дворы еще не сравнялись друг с другом, поэтому Иванов ясно представлял, что ему надо. Но, как ни искал, не мог найти нужный ему дом. Исчезли также и дом биолога, и дом ассистента. Он часа два искал эти дома, заходил в подъезды, но все было напрасно. Ему припомнился булгаковский роман о Москве... Когда вскипавшая в горле горечь рассосалась, когда ненависть сменилась стыдом за себя, он перестал искать.

Голова, казалось, разваливалась на куски. Мучительный, нарастающий с каждой минутой стыд бросил нарколога в жар. Скрипя зубами, ругая себя и чертыхаясь, Иванов спустился под землю, на станцию метро «Смоленская»...

Наутро головная боль, сухость во рту, тошнота, некоординируемые движения — все было тут как тут. Весь омерзительный букет алкогольных недугов можно было бы изучать по собственным ощущениям, если б у Иванова было такое желание.

Такого желания он не испытывал.

Совершая обычный свой путь к месту работы, он шаг за шагом вспоминал и вчерашнее свое поведение. Мучительный стыд снова терзал его. Каждая деталь разговоров и ночных похождений заставляла краснеть, а когда он припомнил финальную часть, то прямо-таки застонал от презрения к себе: «Ты оказался просто дерьмом. Баба с Тишинского рынка? Нет, тебе далеко до тех баб, они-то знают, что делают. Ты просто дерьмо и слабак».

Как это началось? Где, в какой момент он перестал быть самим собой? Почему не остановил себя хотя бы после второго бокала, ведь он ясно помнит, как не хоте-

лось пить. И этот удар сзади... Кто это сделал? Он прекрасно помнил: он не давал никакого повода драться. Разговор о роке и всех этих дискотеках шел, как говорят, на высоком интеллектуальном уровне. За что же он получил этот удар в затылок? И почему нападающий трусливо исчез?

Иванов решительно набрал домашний номер Михаила Георгиевича. Телефон не ответил. Тогда Иванов позвонил Бришу в институт:

— Алло? Миша, я благодарю тебя за урок.

— Не на чем, — сказал Михаил Георгиевич и дал отбой.

Нарколог долго вслушивался в коротенькие гудки: «Значит, он знал хотя бы примерно, что́ должно последовать дальше? Может, и знал. Или предполагал и желал этого, что равносильно».

Иванов положил трубку. Да, все, кажется, ясно. С т а н о в и т с я ясно. Ясно ли? Нет, Бриш мог и не знать про этот удар в затылок. Все равно! Да, все равно, поскольку он заодно с этой веселой компашкой. Биологи, ассистенты... Медведев прав: они только и делают, что отрабатывают варианты. Моделируют. Полярность не зря перекочевала из науки во взаимоотношения людей. Медведев говорил еще о дефиците искренности. Он и тут прав: люди начали говорить одно, а думать противоположное. Почему доброе начинание оборачивается впоследствии таким откровенным злом? Надо бы выяснить на досуге, случайны ли подобные начинания. Или они генерируются кем-то? А после подбрасываются нам «для внутреннего употребления». Всюду модели. Моделируют музыку, природу. Течение рек. Самого человека. Медведев сказал как-то, что теперь человечеству вполне по силам смоделировать апокалипсис... Репетиция конца света? О боже, как осточертели все эти количественные штучки! Так надоело жить в кибернетическом царстве. Уже известно, что будет через пять, десять, пятнадцать лет. Компьютер помогает предсказывать, то есть моделировать, будущее. Там, за океаном, уже знают, сколько русских останется к двухтысячному году... Сколько и что мы выпьем в этом году, сколько в том... Они знают, какова у нас будет смертность, сколько детей будут рожать наши женщины. Высчитали даже процент дебильности. Они моделируют войны. Экономику и политику. Поведение женщин и мо-

лодежи. Ведь идеологические наркотики нисколько не лучше физиологических. Да, да, наркотик моделирует поведение! Это так просто. Ведь не ты же отплясывал с этой девчонкой! Отплясывал коньяк «Апшерон». А ты? Где же в эту минуту был ты? Не мог же «Апшерон» плясать сам по себе. Ему были нужны твои ноги... Пока ты плясал, никто не бил тебя кулаком в затылок. Да, твое поведение моделировалось. Оно контролировалось, пока ты пил и плясал с девчонкой! Ты был не опасен для кибернетиков, ты был с ними и на виду у них. Больше того: заодно! Но стоило тебе отрезветь, стоило стать самим собой, и ты сразу получил удар в затылок. Если пляшешь под ихнюю дудку, они над тобой смеются. Если становишься самим собою — бьют! Боже мой, как же тогда жить? Как сохранить совесть, будучи сильным и независимым? Еще трудней совместить время... Зуев моделирует корабли, которые б ы л и. Федоров добивался воскрешения умерших отцов, он считал это главным сыновним долгом. Может, и впрямь можно смоделировать прошлое? Может, в этом нет никакой опасности? Это, пожалуй, лучше, чем моделировать будущее. Нет, опять что-то не то. Наверное, лучше вообще без всяких моделей. «Я не хочу, не желаю быть объектом эксперимента! — мысленно возопил нарколог. — Не желаю. Я — человек. И никакому дьяволу не позволю экспериментировать надо мной! Даже после моей смерти... Умру со справкой! Чтобы никакие патологоанатомы не лазали в мой череп, не копались в моем сердце». — «Ну да, — возразил кто-то голосом биолога Саши. — Спросят тебя!»

...На работе Иванов попросил медсестру сделать ему укол. Один из тех уколов, которые он назначал своим подопечным для вывода их из глубокой депрессии. Но он ничего не почувствовал, никаких облегчений. Таблетка, проглоченная ради эксперимента, сняла головную боль, но координация движений стала хуже. Иванов ощущал интеллектуальную тупость, ему то и дело усилием воли приходилось возвращать способность критического отношения к себе. Он закрылся в кабинете, не отвечал на звонки, долго лежал, глядел на матовый стеклянный плафон. Ощущение близкой опасности заставило его подняться.

«...Черт! Удостоверение осталось в сейфе. Тетка не приучена жалеть своих пациентов. Она, конечно, позвонит куда следует. Если уже не позвонила...»

Надо было срочно что-то предпринимать. Но что? Он зашел в туалет, умылся, тщательно вытерся и причесал волосы. Затем попросил принести кипятку, чтобы заварить крепкого чаю. Медсестра во второй раз попросила выслушать.

— В чем дело? — Иванов поймал-таки себя на излишней резкости. — Да, да, извините... я слушаю.

Никаких чепе или сногсшибательных новостей за прошедшие сутки на отделении не было. Вызывал шеф, звонили из НИИ. В столовой недостает чайных ложечек, а тот, кто лечится в пятой палате, грозит административными последствиями. Недовольный подселением, он несколько раз пытался звонить в МК. «Бритый профессор и тут пришелся не ко двору, — подумал нарколог. — А где же классовая солидарность?»

Под конец старшая медсестра доложила о состоянии медведевского протеже. Больной по-прежнему молчал, не проявляя ни малейшего интереса к окружающему.

— Приведите его сюда, — потребовал Иванов.

Виктор выглядел поразительно плохо. Глаза провалились. Лицо не выражало, кажется, никаких чувств. Сквозь черную бороду просвечивала белая кожа, уши торчали как-то совсем беспомощно.

— Здравствуйте, — сказал Иванов. — Садитесь.

Сестра ушла. Больной сел, но ничего не сказал. Глаза его, Иванов заметил это издалека, глядели сквозь окружающие предметы, словно глаза всех умирающих. Эти глаза ни на чем не удерживали внимания, они видели лишь что-то свое, не видимое никому из других людей. Иванов никогда не встречал подобной отрешенности. «А что, если... — мелькнула у него мысль. — Что, если...»

Иванов решительно откашлялся и громко сказал:

— Виктор, вы не смогли бы мне помочь?

Глаза Виктора по-прежнему видели только что-то свое. И тогда Иванов поднялся:

— Я прошу, помогите мне! Это смешно, но мне... я попал в беду, понимаете? Мне необходима ваша помощь!

Какая-то слабая, едва уловимая искорка почудилась Иванову в равнодушном, мертвенном взгляде больного. Иванов быстро, громко и коротко рассказал Виктору свою вчерашнюю историю.

— Я напился у этих пижонов как свинья и угодил в это самое заведение. Удрал, но документ остался. Понимаете?

...Он видел, что глаза пациента медленно, недоверчиво, но все же оттаивали, теряли мертвящее равнодушие.

— И я прошу помочь мне! Помогите выбраться из дурацкого положения. Я же нарколог...

Виктор сделал неопределенное и тоже некоординированное движение. Губы его задвигались. Наконец он тихо, с явным усилием произнес:

— К-как? Как я могу помочь?

Наверное, он был потрясен звуком своего же голоса. От удивления Иванов хлопнул в ладони — глаза Виктора оживали! В них уже мерцало слабое, отдаленное любопытство. Отрешенность медленно исчезала из них. Чтобы закрепить достигнутое, Иванов энергично фантазировал:

— Очень просто! Мы разыграем с вами маленький детективчик. Ну, скажем, так. Алкоголик случайно залез в мой кабинет. Выкрал удостоверение и сбежал. Вы слышите? У нас многие больные ходят в своей одежде. Он сбежал из больницы в город и... понимаете?

Виктор сделал несмелую попытку улыбнуться. Да, он сделал эту попытку. Иванов ясно видел, как меняется, возвращается к здешней жизни его лицо.

— А, а... дальше? — еще чуточку громче спросил больной.

— Дальше он, естественно, нарезается и попадает в медвытрезвитель. Оттуда сбегает. Удирает из вытрезвителя без документа. Обратно в больницу... Ну, а здесь никто не заметил его самовольной отлучки. Утром звонят из горздравотдела и...

Раздался резкий телефонный звонок. Иванов снял и тут же положил трубку:

— Вот! Это как раз они и звонят... Заинтересованные товарищи. Звонят и предлагают... вы знаете, что предлагают в таких случаях?

— Я, кажется, понял, я...

Но Иванов перебил Виктора:

— Нет, нет, уж дослушайте до конца! Мне предлагают написать заявление на увольнение по собственному желанию. Я же, зав отделением, сообщаю им о чепе. Докладываю, что больной, совершивший побег, наказан. Он досрочно выписан за грубое нарушение режима...

— Я согласен,— Виктор пробовал уже смеяться.— Выписывайте.

— Это не повредит вашей карьере?

— Нет, нет! Александр Николаевич, я рад, что могу помочь... Надо бы связаться с Медведевым.— Он вдруг отвернулся.— Если б вы знали... Если б вы видели, как они летели... Голые мертвецы летели... Они кричали!.. Их разрезало шиферными листами. Пополам, прямо в воздухе... Они кричали и после этого...

Его всего затрясло. Иванов подскочил к нему, успев все же нажать на кнопку. Прибежала сестра, за ней лечащий врач. Виктора уложили, сделали укол, а через десять минут под руки увели в палату.

Иванов был спокоен. Больной, самым неожиданным образом выведенный из состояния мертвой спячки, несомненно вернулся в реальность... Теперь укол хлористого кальция, долгий сон, а уж после всего этого ему не помешает и хороший обед. Уверенность в том, что уже завтра Виктор будет есть по меньшей мере за четверых, не покидала нарколога.

Телефон просто надрывался от злобного нетерпения.

11

В Москве прошло еще несколько дней. Столица шумела, как и всегда, поглощенная чем-то своим, грандиозным и важным, но бесконечно далеким от Любы Бриш.

Говорили, что август будет тем месяцем, когда начнут затихать напасти високосного года. В городе прижилась мода на восточную медицину; экстрасенсы объявлялись то тут, то там. Ритмическая гимнастика явилась на смену... чему? Люба не помнила, чему на смену пришла ритмическая гимнастика. Вьетнамская мазь и лаосская хирургия, положение планет и миграция вирусов, землетрясение на юге и смертоносный смерч под Костромой и Ивановом — все как будто бы соответствовало високосному году. Году крысы. Оптимисты называли его благополучнее — годом мыши, а те, кто не хотел крайностей, придумали примиряющий термин: год грызуна.

Люба и раньше не всерьез относилась к московским поверьям, а в этом году ей было и совсем не до них. Если она и соблюдала какую-нибудь моду, то делала это не на-

рочно, а неосознанно, поэтому у нее все получалось в меру.

Увы, год для нее и впрямь выдался не из легких! Затея мужа усыновить детей стоила Любе многих слез, дело тянется до сих пор. Дочь в последнюю минуту перед получением паспорта не разрешила ставить фамилию мужа. А тут появился Медведев...

Сегодня она должна вместе с сыном явиться в комиссию по опеке, куда вызван и Ромкин отец. Люба даже не сказала об этом мужу.

Михаил Георгиевич чувствовал, что его в чем-то обманывают, что-то недоговаривают. Сегодня, просматривая Ромкины ученические тетради, муж наткнулся на промокашку, исчерканную шариковыми ручками. «Мышка-Бришка», — прочитал он под растрепанной рожицей.

— Ну, а это как понимать? — спросил Михаил Георгиевич и показал подпись под рисунком.

— Это не я, это Зинка, — сказал Ромка, который играл с Верой в шахматы.

— Что значит не ты? Не ты писал или не ты рисовал?

— Я ее срисовал, а она написала.

— Что написала?

— Ну, как ты не понимаешь, папа! — Ромка двинул вперед правофланговую пешку.

Вера посмотрела сначала на Михаила Георгиевича, потом на Ромку. Михаил Георгиевич продолжал:

— Значит, в школе у тебя прозвище — Мишкин-Бришкин. Так?

Ромка надулся, глядя на доску.

— Да нет! — засмеялась Люба. Она слышала разговор. — Не Мишкин, а Мышкин.

Теперь Вера, забыв про шахматы, внимательно посмотрела на мать.

— Значит, князь Мышкин. Почти идиот.

Вера встала и ушла в свою комнату. Михаил Георгиевич выпроводил Ромку, позвонил на дом классной руководительнице и спросил, где и когда можно ее увидеть.

— Миша, она же давно в отпуске! — сказала Люба. — Зачем пустяками тревожить людей?

— Ты считаешь, что это пустяк?

— Конечно.

— А я считаю, что это мерзость! Понимаешь? Мер-

зость! Ты бы должна знать разницу между пустяками и мерзостью!

Люба опешила. Он просто кричал. Раньше это было вообще основательной редкостью, теперь он кричал едва ли не ежедневно. Но раздражало ее больше то, что во время крика голос его становился женским.

Она молча перетирала только что вымытую чайную посуду. (Семья обедала последнее время за большим столом в гостиной. Не очень-то было удобно носить еду и посуду из кухни, но это как-то укоренилось после совершеннолетия Веры.)

— Извини! — он старался взять себя в руки. — Я кричу. Но, Люба, кричу я не на тебя! Ты пойми, на кого и на что я кричу, ты обязана понять!

— Миша, что я должна понять?

— Элементарные вещи!

— Какие вещи? В этом возрасте у них у всех...

— Я не хочу говорить, что́ у них в этом возрасте, мне просто осточертело все это хамство! Мне надоело, понимаешь? Все эти штучки отвратительны, сколько же можно?

— Какие штучки?

Люба не понимала, о чем он говорил. Обида ее усиливалась, его возбужденное состояние медленно, однако же настойчиво овладевало и ею. По мере того как он с помощью слов освобождался от какой-то непонятной ей злости, злость эта переходила в нее, и непрошеные слова уже копились где-то у самого горла. А сегодня с мужем творилось что-то совсем непонятное. За все годы их совместной жизни ни разу не видела она его в таком состоянии! Какая-то сила корежила его у нее на глазах. Она, эта сила, против его воли подбирала для него слова и необычные для него выражения.

— Пойдем, мы с Ромкой проводим тебя до метро, — предложила Люба.

Он не слушал. Он швырял бумаги, не мог завязать галстук:

— Гадство на каждом шагу! На каждом! Ты понимаешь, что такое хамство и гадство? Если не понимаешь, тогда нам не о чем говорить! Извини, я, кажется, снова кричу!

Люба молчала, у нее тоже клокотало внутри. Она сдерживалась из последних сил, но спокойным голосом

сделала какой-то наказ дочери. Та, не выслушав, ушла в свою комнату. А он, ее муж, даже ничего не заметил! Он продолжал обличать хамство.

На улице он долго и упрямо ловил такси. Машины шли мимо и мимо. Шоферы как будто чувствовали его агрессивное состояние, даже не тормозили.

— У вас сегодня защита? — спросила Люба, инстинктивно меняя его и свою мысленную направленность.

— Да. Один идиот зачитает свою паршивую диссертацию, два других идиота расскажут, какая она хорошая! Четвертый укажет на отдельные недостатки. Проголосуют и дружно ринутся на банкет.

Несмотря ни на что, он дождался такси. Чмокнул жену в висок и проворно залез в машину. «Я позвоню, если задержусь», — услышала Люба, но он и сам выслушал свою фразу. Иногда он слушал сам себя, словно шофера, который спрашивал, куда ехать.

Конечно же он чувствовал, что они с Ромкой куда-то собрались. Но поскольку она не говорила ему об этом, он не мог предложить ехать с ним на такси. Люба впервые почувствовала, что обманула его. Она не испытывала от этого никакого раскаяния и удивилась: что с ней?

...Мужчина в берете напомнил ей о давней, совсем забытой поездке во Францию. Хватило одного движения его черных усиков, чтобы отрадное воспоминание молодости исчезло. «Оставьте, оставьте меня в покое! — хотелось ей крикнуть всем этим встречным фатоватым мужчинам. — Сколько же можно?» Но они все шли и, как ей казалось, нагло ее разглядывали. Она просто устала от этих взглядов. И этот хлыщ с циничным прищуром лошадиных зеленоватых глаз, раздевающих ее с ног до головы, и этот молоденький офицерик, не скрывающий откровенно восторженного удивления, и этот старый, но все еще модный товарищ, обладающий красивым прищуром, — все глядели на нее, как на свою. Если б они знали, что у нее на душе...

Люба забыла, что раньше ей нравились эти взгляды, что когда-то она забавлялась ими. Еще не так давно она смело кидала свой взгляд прямо в глаза встречным, разжигая ложное самомнение у записных ловеласов, приводя в смятение молоденьких офицеров и повышая настро-

ение стареющим модникам. Завистливых женских взглядов Люба совершенно не замечала, тут и забывать было почти что нечего. Разве что давние рассуждения Натальи Зуевой о женской свободе. Кажется, это она, Наталья, называла женскую верность домостроевской кабалой...

Слезы просто душили. «Почему он уехал? Один, как этот...»

В метро Люба несколько успокоилась. Подземная толпа втянула ее вместе с Ромкой в узкое горло подъемного эскалатора, вытянулась, вывезла на поверхность и так же деловито вынесла на улицу.

— Идем, Ромушка, идем! И в кого ты такой рохля? — Люба тащила сына за руку; он не успевал увертываться от встречных.

Крохотная ладошка сына, словно чужая, безжизненная, не двигалась в материнской руке. Любе хотелось, чтобы Ромка хотя бы слегка пошевелил пальчиками. Так нет же, ручонка сына лежала в ее руке совершенно безвольно. Люба остановилась и вытерла ее носовым платком:

— Ну, что ты?

Оставалось мало времени. Люба должна была явиться в райисполкомовскую комиссию к определенному часу. Ромка молчал. Он вообще последнее время стал молчаливее, она давно заметила это, но ей не хотелось раздумывать о причинах. С тех пор как в ее жизни начался период всяческих заявлений, хождений по адвокатам, разговоров в комиссиях, Любе стало некогда думать. Чувствовать своих детей, ощущать в них всякое, даже самое маленькое изменение, физическое или душевное, она просто не успевала.

— Ромушка, а как же ты в школу пойдешь? — торопила Люба мальчика. — А на физкультуру? Совсем еле шевелишься...

Ромка молчал.

Оставалось меньше и меньше дней до первого сентября. У Ромки замирала душа, когда он вспоминал о школе. Он старался не думать на эту тему. Ведь еще каникулы, еще долго! Но дни проходили слишком быстро. Сегодня он опять тщательно изучил календарь: августовские числа исчезали одно за другим. Папа уже звонил учительнице. Сестра дважды примеряла свою новую форму, а мама...

Ах, эта мама! Она каждый день только и говорит о Ромкиной школе. Он старательно пробовал с радостным нетерпением ждать первого сентября. Только ничего у него не получилось. И почему маме так хочется этого первого сентября? От одного воспоминания о математике у Ромки начинало тревожно ныть в груди и тянуть в горле. Но Ромка еще не потерял замечательной детской способности нарочно забывать обо всем неприятном.

Сразу после детского садика школа представлялась ему чем-то удивительно новым и радостным. И в первый раз он пошел в школу радостно-гордым, взволнованным. Но торжественная линейка тянулась так долго, так много говорили дяди и тети, что он устал. Он уже не вникал в слова и только боялся, что завянут цветы. Они действительно чуть не завяли. Так чего же мама так радуется, что скоро снова первое сентября?

Место, куда они пришли после метро, было не очень интересное, но все-таки новое. «Районный исполнительный комитет», — прочитал Ромка красивую вывеску и спросил:

— Мама, почему исполнительный?

— Потому что исполнительный, — она посмотрела на часы и заторопилась, повела Ромку по коридору.

— А что он исполняет?

— Идем, Ромушка! Мы уже опоздали. Посиди здесь, я сейчас.

Она усадила его на скрипучий стул, без стука открыла одну из дверей. Дверей было много, и он хорошо запомнил только ту, в которую вошла мама. Он огляделся. На второй этаж вела красивая лестница. Лестничные перила были с толстыми круглыми столбиками. Ромке захотелось проехать по поручню, но тут ему стало как-то не по себе. Опять он ощутил какое-то непонятное волнение, какое-то беспокойство, словно в кино, когда смотришь интересное место. Или как на уроке, когда чувствуешь, что вот сейчас, сейчас тебя обязательно спросят. Назовут твою фамилию и спросят...

Ромка знал, что такое уже случалось с ним. Раз, а может быть, два, на улице или где-то в подъезде, он забыл где. И вот опять... Какое-то странное волнение окутало мальчика, он беспокойно ерзал на стуле. Прошло минут

десять. Ромка даже не вздрогнул, когда бородатый, но вовсе не страшный дяденька сбежал по лестнице. Он глядел на Ромку, а Ромка глядел на него как давно знакомые. Дяденька положил ладонь на Ромкину голову, хотел что-то сказать, но вместо этого опять исчез, быстро поднялся по лестнице.

Люба вместе с Ивановым выходила из кабинета. Иванов улыбнулся Ромке. Люба была так расстроена, что ее губы дрожали, ресницы то и дело вскидывались.

— Александр Николаевич! — сказала она. — Можно задать вам один вопрос?

— Конечно.

— Скажите, почему вы всю жизнь меня преследуете?

— То есть как... — изумился Иванов. — Люба, я не совсем понимаю. Я? Преследую вас?..

— Вот именно. Вы.

— Что за вздор! — в отчаянии крикнул Иванов.

— Тогда почему вы здесь?

— Меня попросили...

— Да?

— Да! — твердо сказал Иванов, всей кожей чувствуя Ромкину отчаянную детскую ненависть. Люба же, похоже, просто презирала его, Иванова. Он видел пульсирующую нежную жилку на ее шее, слышал легкий, едва уловимый запах пота, запах ее кожи, смешанный с запахом французских духов фирмы «Нина Риччи». Конечно, ему было наплевать, какой фирмы были ее духи. Белый изгиб, обозначивший неуловимую границу между плечом и шеей, он тоже видел, но видел не прямым, а косвенным взглядом. Может быть, сейчас ему, подобно Ромке, тоже хотелось заплакать, по-детски уткнуться в это плечо и заплакать, чтобы забыть свое и чужое сиротство...

Она щурилась, ее побелевшие ноздри гневно двигались.

— Ну, что же... Можете продолжать в том же духе...

Люба схватила моргающего, напрягшегося от жутких предчувствий Ромку и быстро пошла к выходу.

Лицо нарколога просто полыхало от стыда и от возмущения. Действительно, что ему, Иванову, надо? Почему он вмешивается в чужие дела и ходит по райисполкомам? Он ходит по юридическим консультациям, занимается делами Медведева. Да еще и врет. Он соврал сегодня опять, когда сказал, что «его попросили». Нет, ни-

кто его не просил. Но ведь Медведев знал, что он, Иванов, ходит по консультациям.

Он все знал — и не возражал. Больше того, он согласился прийти сегодня в комиссию по опеке, где давно подготовлена почва для лишения его родительских прав, где... И тэ дэ и тэ пэ. Любу вызывали сюда с сыном, и Медведев знал об этом. Он должен был тоже прийти сюда, но он не явился...

Итак, он, Иванов, — преследователь беззащитной женщины, разрушитель семейного спокойствия. Наверное, это так и есть. Почему он снова солгал, когда сказал ей, что его попросили? Солгал? А может, и не солгал...

Нет, нет, до сих пор у него не было ни малейшего сомнения в справедливости своих хлопот! И сейчас, вспоминая все сначала, он не чувствует ни тени своей вины. Ни перед Любой, ни перед ее детьми. Но Медведев должен был, он был обязан приехать! Почему он бездействует?

Иванов, опустив голову, медленно продвигался мимо учрежденческих кабинетов. Он открыл тяжелую, обитую медью входную дверь, когда чья-то рука коснулась его плеча.

— Ты? — Иванов оглянулся и негодующе сбросил руку. — Ты все время был здесь?

— Ты меня извини, — глухо сказал Медведев. (Он спустился по лестнице со второго этажа.)

Это случилось так быстро, что Люба не успела далеко увести плачущего мальчика. Медведев, сжимая локоть Иванова, жадно глядел им вслед. Она уходила гордо, не оглядываясь. Иванову вдруг почудилось, что, если ее сейчас окликнуть, она остановится, повернется и вместе с сыном бросится назад, к Медведеву, к отцу своих детей, к своему первому мужу. Но ее никто не окликнул...

Москва поглотила Любу вместе с плачущим мальчиком.

Иванов и Медведев молча покинули подъезд учреждения, где почему-то решаются и семейные судьбы. Они шли на достаточном расстоянии друг от друга. Со стороны они казались незнакомыми. В груди Иванова, где-то

между ключицами, вновь вскипело негодование. Стараясь быть спокойным и не глядя в сторону друга, он тихо, но четко сказал:

— Ты предал своего сына!

Медведев не ответил. Он шел, глядя прямо и немигающе. Иванов спросил:

— Ты хочешь оставить все как есть?

— Я еще не решил, — глухо сказал Медведев.

— Зато Бриш давно решил! За тебя...

Медведев на ходу посмотрел на Иванова и опять промолчал. Иванову захотелось выругаться, и он выругался, после чего сказал спокойно:

— Я не понимаю тебя. «Паситесь, мирные народы...» Как там у Пушкина: «Вас должно резать или стричь...» А я не желаю, чтобы меня стригли!

— Ты знаешь, что делать? — насмешливо спросил Медведев.

— Я говорю просто и ясно: я не желаю, чтобы меня стригли.

— Баранья судьба меня тоже не устраивает! — вспылил наконец и Медведев. — Но резать и стричь других я не рожден.

— Ясно. Евангельское всепрощение. Ударили по правой щеке — подставь левую.

— А как иначе? — обернулся и даже остановился Медведев.

— Христианство в его российском варианте равносильно самоубийству, — сказал нарколог.

— Брось... Что мы знаем об этом, как ты говоришь, варианте?

— Тебя бьют по одной щеке, а ты должен подставить другую. У тебя есть единственные штаны, ты должен отдать их какому-нибудь проходимцу. И ведь он же потом над тобой и смеется! Что, мол, там за дурак без штанов ходит? Разве не так? — Глаза Иванова сверкали, губы делали какую-то собственную гимнастику. Кажется, и язык участвовал в этих движениях: — Знаю, знаю, скажешь: «Не оскудеет рука дающего». Ошибаешься! Оскудевает! Крокодил возьмет ли конфетку из рук ребенка? Нет, он проглотит ее вместе с дающей рукой и вместе с ребенком! Так для крокодила надежнее...

Медведев молчал. Он шагал быстрей и быстрей, но Иванов опять догнал его:

— Сколько же можно быть жертвенным?

— Слушай, давай зайдем в пельменную,— весело предложил Медведев.— Последний раз я ел пельмени в Рузаевке. Сто лет назад.

Но Иванов не собирался сдаваться:

— Теперь мода на чебуречные! А пепси-кола и фанта — это прогресс? Если понос относится к атрибутам прогресса, то я сдаюсь! Ну, что ты как аршин проглотил? Может, скажешь хоть что-нибудь?

— Говорю тебе: я еще не решил. Подожди...

— Опять двадцать пять! Все только и делают, что чего-то ждут! Я знаю, чего мы ждем! Что за манера? Ждать и ничего не делать. Каждый отбрыкивается: «Это не телефонный разговор». Или: «Ну, старик, время не то». А когда оно было «то»? Когда было оно легким? Каждый прячется за спины других, никто не хочет ответственности. «Я за это не отвечаю!», «Это не я курирую!» Словечко-то каково! Ку-ри-рую!

Медведев молчал, и тогда Иванов воскликнул:

— Ты, между прочим, тоже трус! У твоих детей отбирают фамилию... Скоро тебя лишат родительских прав.

— Саша, перестань меня обличать. Скажи лучше, как ты вылечил Виктора?

Они шли по Москве довольно быстро. Они входили на Бородинский мост. Иванов покраснел, вспоминая не Виктора, а проигранное пари. Но ощущение стыда отсрочилось новым приливом негодования:

— А ты знаешь, что Бриш каждую неделю шатается по Колпачному переулку?

Медведев остановился:

— Откуда ты знаешь?

— Вся Москва знает об этом. Он давно околпачен.— Иванов схватился за парапет.— Этот колпак нам не переколпаковать!

— Мне его жаль! — Медведев спокойно пошел дальше.

— А сына? А дочь? — закричал Иванов.— Ты хочешь оставить их с матерью? Что будешь делать ты?

— Повторяю тебе: я еще не решил! И, пожалуйста, выйди из состояния ощеренности.

— Когда ты решишь, они будут уже в каком-нибудь Арканзасе. Ты предал своих детей!

— Прекрати, говорю тебе! В гневе мы теряем остатки мужества.

— И когда это ты научился говорить афоризмами? Залюбуешься... Это самое сделало тебя таким... жалким?..

— Замолчи! — Медведев остановился и побелел. — Или я врежу тебе...

— Я сам тебе врежу! — тихо сквозь зубы произнес Иванов и, сжав кулаки, напрягая челюсти, придвинулся ближе.

Оба замерли. Они сверлили, пронизывали друг друга глазами. Их обходили, на них оглядывались, а они стояли, готовые броситься друг на друга. Это было как раз посредине моста...

И Москва шумела на двух своих берегах.

СОДЕРЖАНИЕ

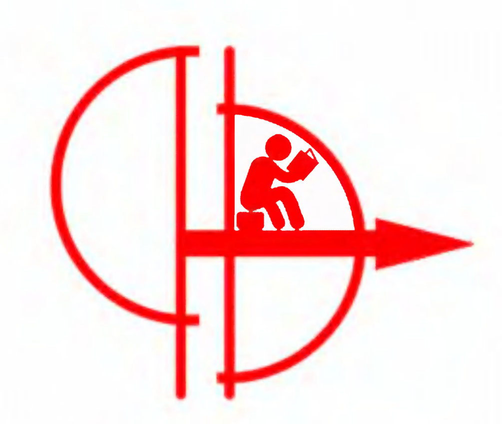
Василий Белов

ВСЕ ВПЕРЕДИ

Редактор *В.П. Стеценко*
Художественный редактор *М. К. Гуров*
Технические редакторы
Т. В. Тужилкина и *Н. В. Яшукова*
Корректор *Т. И. Денисьева*

ИБ № 8590

Подписано к печати 10.02.92.
Формат 84 × 108 1/32. Бумага офс. № 1.
Гарнитура Таймс. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд.л 11,80 .
Тираж 30 000 экз.
Издание подготовлено к печати на персональных компьютерах издательства «Современный писатель», 121069, Москва, ул. Поварская, 11.
Тульская типография, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.
Заказ № 92



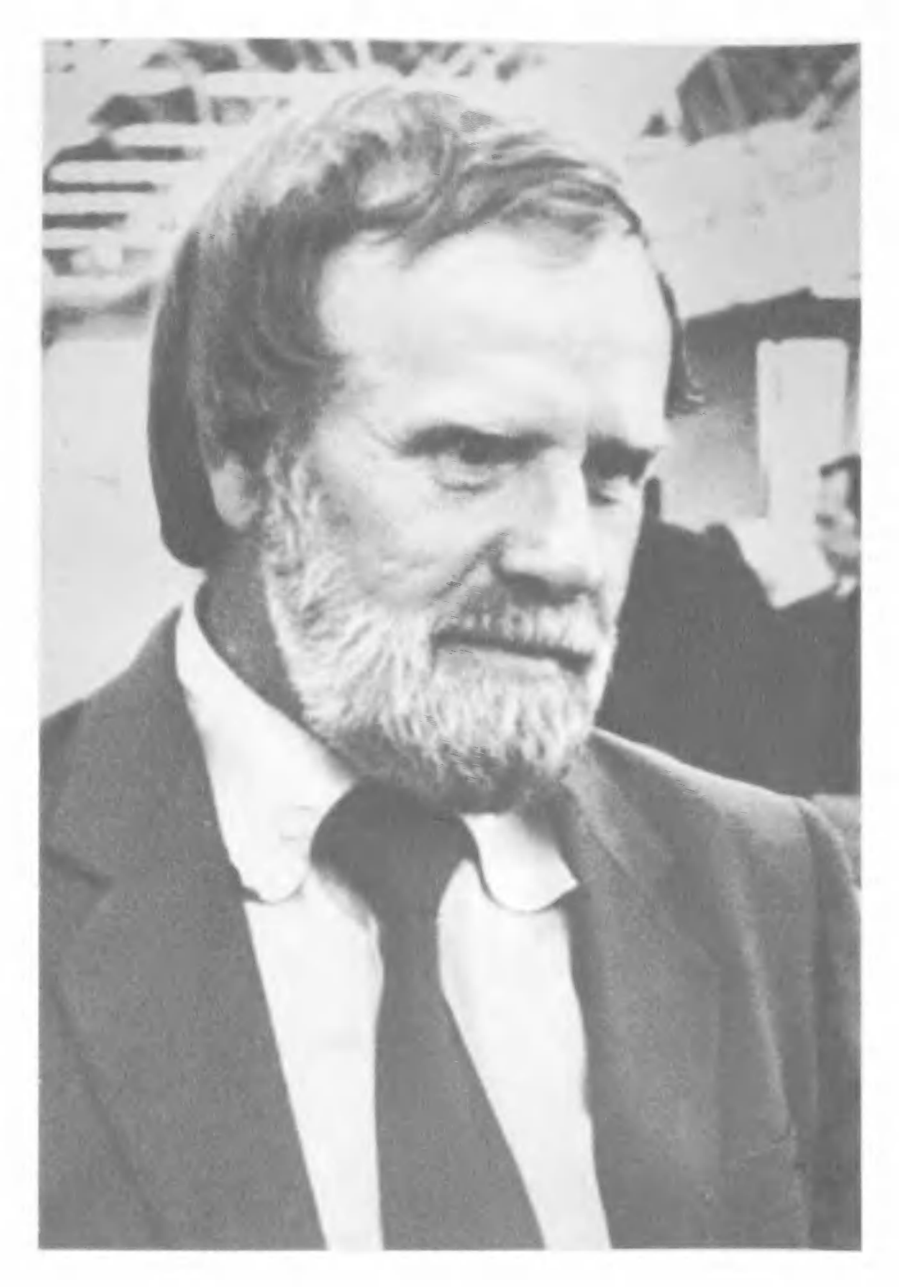
Белов В.

Б 43 Все впереди: Роман. — М.: «Современный писатель», 1993. — 224 с.

ISBN 5—265—02672—X

Начиная с повести «Привычное дело», принесшей Василию Белову всесоюзную известность, с книги рассказов «Воспитание по доктору Споку», за которую присуждена Государственная премия СССР, до последнего, вызвавшего ожесточенные споры, романа «Все впереди» писатель последовательно и бескомпромиссно исследует все, что касается современной семьи, этой первоосновной ячейки человеческого общества.

Б $\frac{4702010201-039}{083(02)-93}$ Без объявления ББК 84 Р7





ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

ВСЕ ВПЕРЕДИ

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ